

**БОРИС
ЕГОРОВ**

АПОЛЛОН
ГРИГОРЬЕВ

Жизнь замечательных людей

Борис Егоров
Аполлон Григорьев

«Егоров Борис Федорович»

2017

Егоров Б. Ф.

Аполлон Григорьев / Б. Ф. Егоров — «Егоров Борис Федорович», 2017 — (Жизнь замечательных людей)

ISBN 5-235-02323-4

В книге известного литературоведа и историка Б.Ф.Егорова впервые для широкого читателя подробно и популярно раскрывается жизненный путь одного из сложнейших деятелей русской культуры Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864), замечательного поэта, прозаика, литературного и театрального критика, публициста. Широко известный лишь своими `цыганскими` песнями (`О, говори хоть ты со мной...` и `Две гитары, зазвенев...`), он был еще выдающимся критиком середины XIX века (Тургенев сравнивал его с Белинским), автором интереснейших воспоминаний, талантливым очеркистом. Человек неумных страстей, он не знал меры в любви, в дружбе, в алкоголе, часто впадал в идеологические крайности (был масоном, революционером, консерватором, славянофилом, `почвенником`), честно потом отказывался от `экстремизма`. По противоречиям жизни и творчества Григорьев может сравниться с Н.С.Лесковым и В.В.Розановым.

ISBN 5-235-02323-4

© Егоров Б. Ф., 2017

© Егоров Борис Федорович, 2017

Содержание

Вступление	6
Предки	8
Детство	14
Университет	18
После университета	28
В петербурге	38
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Борис Федорович Егоров Аполлон Григорьев

«Как истинно русский человек, то есть как смесь фанатика с ёрником...»

Григорьев о себе в письме к М. П. Погодину от 27 октября 1857 г.

Когда Ап. Майков читал в кругу друзей поэму «Три смерти», где рассказывается о приговоре Нерона казнить Сенеку, Лукана и Люция, то Григорьев воскликнул: «Я умру, как Люций! Ни от чего не отрекаясь!»

Из воспоминаний Н. Н. Страхова

Вступление

Большие таланты, если только они не авторы знаменитых изобретений или выдающихся художественных произведений, часто входят в нашу культуру незаметно, безымянно. Многие ли знают, что «Цыганскую венгерку» («Две гитары, зазвенев...») создал Аполлон Григорьев? Наверное, лишь одни пушкинисты осведомлены, что крылатая фраза «Пушкин – наше всё» тоже григорьевская. Еще меньшее число специалистов знает, что Григорьев придумал такие обычные для нас выражения, как «допотопный», «цвет и запах эпохи», «цветная истина», «мертворожденное произведение». Создания живут, становятся общенародным достоянием, а создатели уходят в тень, забываются...

Существует расхожая формула – не григорьевская! – «чтобы на Руси стать известным, нужно жить долго». Увы, кто из великих русских людей жил долго? Разве что Лев Толстой да академики И. П. Павлов и В. И. Вернадский. Аполлону Григорьеву судьба отпустила всего 42 года жизни, то есть около 20 лет творчества. Сделал за это время он очень много: стал одним из самых главных литературных критиков и уж явно самым главным театральным критиком России тех лет, известным поэтом и переводчиком (в числе других объектов перевода – Шекспир и Байрон), писал интересные очерки, воспоминания, драмы.

Но Григорьев был чрезвычайно противоречив как человек и как творческая личность, что вызывало у современников и потомков изумление, раздражение, отталкивание... Мистик, атеист, масон, петрашевец, славянофил, артист, поэт, редактор, критик, драматург, фельетонист, певец, гитарист, оратор, чистый и честный юноша, запойный пьяница, душевный, но безалаберный человек, добрый товарищ и непримиримый противник, страстный фанатик убеждения, напоминающий этим Белинского, – таков облик Григорьева, мозаично рассыпающийся на несоизмеримые элементы.

Может быть, из-за этой россыпи Григорьев незаслуженно мало запечатлен в воспоминаниях и художественных произведениях. Есть по этому поводу интересное письмо его товарища студенческих лет поэта Я. П. Полонского к другу Григорьева более поздней поры драматургу А. Н. Островскому (3 апреля 1876 года): «Я знал Григорьева как идеально благонаправленного и послушного мальчика, в студенческой форме, боящегося вернуться домой позднее 9 часов вечера, и знал его как забулдыгу. Помню Григорьева, проповедующего поклонение русскому кнуту – и поющего со студентами песню, им положенную на музыку: «Долго нас помещики душили, становые били!...»¹ Помню его не верующим ни в Бога, ни в чорта – и в церкви на коленях молящегося до кровавого пота. Помню его как скептика и как мистика, помню его своим другом и своим врагом. – Правдивейшим из людей и лстящим графу Кушелеву и его ребяческим произведениям!

Одним словом, – чем больше я думаю о Григорьеве, тем более понимаю, отчего, несмотря на свой громадный критический талант, он в литературе не оставил почти что никакого следа, то есть имел так мало людей, которые были бы способны вполне понимать его. Самая внезапная смерть его, чуть ли не с гитарой в руках – минута трагическая.

Вы знали его ближе, чем я, и несомненно во 100 раз лучше меня его понимали.

Не попробуете ли вы когда-нибудь воссоздать этот образ в одном из ваших будущих произведений? Григорьев как личность, право, достоин кисти великого художника. К тому

¹ Легенда о Григорьеве как авторе популярной песни шестидесятых годов «Долго нас помещики душили...» мало достоверна, так как все его революционные стихотворения создавались лишь в сороковых годах; наиболее вероятный автор – В. С. Курочкин. Полонский скорее всего слышал в исполнении Григорьева его ранние песни, но за давностью лет спутал. А может быть, Григорьев – автор музыки?

же это был чисто русский по своей природе – какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном западном государстве».

Увы, Островский, действительно очень хорошо знавший Григорьева, не уделил ему места в своих пьесах, если не считать отдаленного сходства в характере и поступках Петра («Не так живи, как хочется»). Правда, другие наши великие писатели не прошли мимо колоритной фигуры современника: некоторые черты, особенно биографические, в истории Лаврецкого («Дворянское гнездо») непосредственно заимствованы Тургеневым из бесед с Григорьевым, а Лев Толстой при изображении Федора Протасова («Живой труп») использовал и психологические особенности характера Григорьева; некоторые реплики Мити Карамазова у Достоевского напоминают григорьевские. Но это слишком мало и косвенно...

Противоречивая мозаика взглядов и черт Григорьева, однако, имела под собой некие глубинные основы его характера; они, возможно, и связывали различное воедино, и в то же время способствовали самой раздробленности. Прежде всего, это страстность натуры. Существует легенда, что когда Григорьев входил в вечерний салон, то всем хотелось его спросить: где пожар?! Страсти помогали созданию новых грандиозных концепций и быстрому разрушению старых, способствовали художественному творчеству, чрезвычайно запутывали человеческие отношения, особенно любовные... Обо всем этом будем подробно говорить в книге. Как и о других особенностях этого выдающегося человека. В нем интересно сочетались глубинные типичные свойства национального характера, типовые черты русского интеллигента середины XIX века и совершенно оригинальные особенности индивидуума. А все вместе в сочетании со стремительным калейдоскопом событий, в которые был втянут наш герой (или которые он сам создавал), представляет такой яркий и неповторимый сюжет, что приходится удивляться, как до сих пор история жизни и творчества Григорьева не стала, если исключить небольшие рассказы, театральные и радиопостановки, лакомым объектом для писателей, киношников, телевизионщиков. Может быть, наша биография станет стимулом для их творчества?

Предки

Родословная нашего героя весьма туманная. Сам Григорьев знал предков только на уровне родителей своих родителей. О деде по отцу он в замечательных мемуарах «Мои литературные и нравственные скитальчества» писал так: «Пришел он в Москву из северо-восточной стороны в нагольном полушубке, пробил себе дорогу лбом». Внук даже, видимо, не знал точно, откуда дед был родом: из Ярославля, Костромы, Вятки, Перми? Нагольный полушубок провоцировал биографов Григорьева на утверждение крестьянских корней деда. Однако разыскания Г. А. Федорова значительно изменили картину, хотя и эта новая картина остается туманной. Федоров нашел в архиве свидетельство, выданное деду, Ивану Григорьевичу Григорьеву, в 1803 году Московской управой благочиния для получения дворянской грамоты. И в этом свидетельстве говорится, что Иван Григорьевич – «из обер-офицерских детей». Эта фраза явилась основанием для внесения соответствующей строки в родословную книгу дворянства Московской губернии. Там это выглядит как документ. Но когда мы еще узнали про свидетельство для получения И. Г. Григорьевым дворянского звания, то непонятно, зачем ему нужно было хлопотать о дворянском достоинстве: в XVIII веке любой офицер был потомственным дворянином и его дети от рождения становились дворянами.

Боюсь, что свидетельство Иван Григорьевич получил по знакомству и никаких документов о своем «офицерском» происхождении не представлял. В свидетельстве присутствует еще такая несуразица: сказано, что получателю в декабре 1803 года – 41 год, то есть родился он в 1762 году. И тут же, в послужном списке сообщается: «в службу вступил... в Волоколамскую воеводскую канцелярию копиистом 1770-го июля 25-го». Но даже если мальчик был вундеркиндом, его не взяли бы восьмилетним на службу! Причем эта дата не подтверждается никаким документом, и лишь следующая дата, 1777 год, приводится, согласно указу Московской губернской канцелярии. То есть опять здесь чувствуется «блат»: дед на целых семь лет увеличил свой служебный стаж! В XVIII веке такие случаи были, наверное, обычны: новорожденных детей записывали в армию, чтобы, пока ребенок подрастет, ему уж и хороший чин подошел.

Значит, реально дед поступил на службу в 1777 году пятнадцатилетним юношей, очевидно, уже достаточно грамотным. А затем рачительно трудился подканцеляристом, канцеляристом, казначеем, получал за старательность награды и чины; в 1802 году он стал надворным советником, чиновником 7-го класса по табели о рангах, уже без всякого обер-офицерского происхождения имеющим право на потомственное дворянство.

А выходцем дед был из духовной среды. Г. А. Федоров установил, что по прибытии в Москву он жил в доме своего дяди Иоанна Иоаннова, протоиерея построенной в 1751 году красивой церкви Великомученика Никиты на Старой Басманной; дом священника был рядом (нынешний адрес: Гороховский переулок, 4; это не солидный корпус, с классическим портиком, Института геодезии, а примыкающее к нему слева, если смотреть на фасад с улицы, двухэтажное здание – оба они под № 4). Здесь, в этой церкви Иван Григорьевич и венчался в 1787 году, взяв в жены бывшую крепостную, но «уволенную вечно на волю» «дворовую девицу Марину Николаевну». Потом дед, будучи знаком со всем канцелярским миром Москвы, при получении дворянства выдал жену за происходящую из рода дворян Скобельцыных.

Духовное происхождение деда проявилось в постоянном чтении книг религиозного содержания. Вообще же он собрал большую библиотеку, где было много и светской литературы. Внук вспоминает, что она размещалась в нескольких сундуках. Дед был знаком с Н. И. Новиковым, знаменитым издателем и масоном; когда при Екатерине II Новиков был арестован и посажен в Шлиссельбургскую крепость за свою масонскую и издательскую дея-

тельность, дед натерпелся страху, сжег все книги, подаренные ему Новиковым; внук был уверен, что и сам дед был тоже масоном.

Внук, слабовольный, хаотичный, безалаберный, контрасту цельных и волевых личностей, и «кряжевая», как он выражался, натура деда, напоминая ему Багрова из автобиографических очерков С. Т. Аксакова, притягивала его к себе, он мысленно разговаривал с покойным дедом, которого никогда не видал, ибо он умер до рождения внука. Ап. Григорьев вспоминал, что, любя в молодости бродить по ночному городу, он специально ходил к церкви Великомученика Никиты, к первому пристанищу деда в Москве, садился на паперть часовни и разговаривал с дедом, чуть ли не реально надеясь на появление предка... По крайней мере, говорит внук, дважды, в самые трудные, переломные моменты жизни, дед являлся ему во сне.

К началу XIX века дед зажил вольготной жизнью видного московского чиновника-дворянина. Как деликатно писал внук, «он, как и все, вероятно, брал если не взятки, то добровольные поборы»... Купил во Владимирской губернии деревеньку с крепостными душами, в Москве купил дом с садом на Малой Дмитровке (теперешней улице Чехова). Ныне это участки домов № 25 и 27. Дом № 27, главный барский дом основательной каменной застройки, пережил московский пожар 1812 года, но конечно, весь выгорел внутри, и дед продал его остов. Дом и ныне существует.

Пошли дети. В 1788 году родился первенец Александр, будущий отец нашего Аполлона, в 1789-м – Екатерина, в 1800-м – Александра, в 1804-м – Николай. Детям, естественно, было дано хорошее образование. Александр учился в Благородном пансионе при Московском университете. Николай стал офицером. Менее известна жизнь дочерей. Кажется, они обе остались старыми девами, доживавшими свой век вместе с матерью в отцовской деревеньке. Лишь мельком вспоминал Ап. Григорьев о старшей, Екатерине Ивановне: «Натура страстная и даровитая, не вышедшая замуж по страшной гордости, она вся сосредоточилась в воспоминаниях прошедшего».

Александр Иванович, согласно формулярному списку 1829 года, начал работать копиистом с 1799 года в Главной соляной конторе Москвы, с июня 1802-го – подканцеляристом, через полгода – канцеляристом. Опять же, как и в случае с отцом, это была формальная запись для стажа: маловероятно, чтобы одиннадцатилетний мальчик начал служить в канцелярии!

В 1802–1806 годах он обучался в Благородном пансионе при Московском университете, а потом уже, по-видимому, реально начал служить, поступив в Правительствующий Сенат, получил самый низший, 14-го класса чин коллежского регистратора, а затем стал подниматься по чиновничьим ступенькам – в 1816 году дослужился до титулярного советника. У него уже выработалась дворянская, как сейчас говорят, ментальность: презирал духовное сословие, забыв, что сам из него происходил, любил блеснуть французским языком, сочинял в кругу близких комедии, по характеру был ироничным и добродушным.

Возможно, жизнь Александра Ивановича потекла бы по обычному чиновничье-дворянскому руслу, если бы не родовая страстная натура. Он влюбился в дочь семейного кучера (мы до сих пор не знаем точно, крепостного или вольноотпущенного; в ведомости о крещении родившегося Аполлона мать именуется «мещанской девицей»; но документам, связанным с семьей Григорьевых, не всегда можно верить: административные знакомства Александра Ивановича могли помочь утаить крепостное состояние матери). Родители решительно воспротивились этой страсти. Возможно, речь должна идти об одной матери Александра Ивановича, так как отца, кажется, уже не было в живых; Аполлон, со слов родителей, считал, что дед умер за год до его рождения; однако внук Аполлона Владимир Александрович предполагал, что деда мог хватить смертельный удар, когда он увидел, как далеко зашли молодые. Казалось бы, что стоило ему вспомнить свою молодость: ведь попович Иван Гри-

горьевич женился на вольноотпущенной Марине Николаевне! Нет, что дозволено Юпитеру, не положено быку. Дворянскому (теперь уже) сыну невозможно жениться на бывшей крепостной. Александр Иванович сильно запил, это стоило ему потери престижного места в Сенате. В формулярном списке об этом периоде сказано деликатно: «В отставке был с 9-го декабря 1818 г. по 16 число февраля 1822 г.». Однако любовь зашла далеко, «мещанская девица» Татьяна Андреевна забеременела, и 16 июля 1822 года появился на свет Аполлон с тогдашним клеймом «незаконнорожденного». Через неделю родители отдали младенца в Императорский Московский воспитательный дом; очевидно, хорошо знавший юридические законы Александр Иванович с умыслом совершил эту акцию, были какие-то причины, и здесь опять всплывает вопрос о крепостном праве: в случае, если рожала незамужняя крепостная женщина, ребенок тоже должен был быть записан в крепостное состояние, а нахождение его в Воспитательном доме, под покровительством императрицы, сразу повышало его социальный статус – он становился мещанином. Так что помещение малыша в Воспитательный дом – весомый аргумент в пользу предположения о крепостной матери.

Александр Иванович не отличался «кряжевой» твердостью отца, но по отношению к любимой женщине, да еще при родившемся сыне, он проявил завидную непреклонность и добился-таки официальной женитьбы: в январе 1823 года состоялась свадьба. Я считаю, что подробный рассказ И. С. Тургенева в «Дворянском гнезде» о мытарствах в сходной ситуации родителей Лаврецкого во многом заимствован из биографии Ап. Григорьева: в марте 1858 года во время создания романа Тургенев несколько дней интенсивно общался с Григорьевым (дело происходило во Флоренции), и Григорьев мог подробно рассказывать писателю о своей жизни (я еще буду говорить о драматическом сюжете с изменой жены Григорьева, что тоже мог использовать Тургенев в «Дворянском гнезде»).

Несколько месяцев спустя родители забрали Аполлона из Воспитательного дома и Александр Иванович официально узаконил свое отцовство. Потом у родителей еще родились сын Николай и дочь Мария, но они прожили на свете всего по несколько недель, так что первенец Аполлон остался единственным ребенком в семье. Потому и очень любимым. Любил родителей и Аполлон, но его значительно более поздние резкие отзывы об отце заставляют предполагать, что – хотя он ни разу в этом не признался, – возможно, подобное отталкивание объяснялось душевной раной юноши, узнавшего о своем «незаконном» рождении и о пребывании в Воспитательном доме.

Мать его Татьяна Андреевна не получила никакого образования, читала еле-еле, по складам, но была хорошей хозяйкой, любящей матерью, по утрам расчесывающей волосы Полошеньке (так он именовался родителями) – даже когда он стал студентом. К сожалению, лет двадцать, до самой смерти в 1854 году ее мучила какая-то странная болезнь по несколько дней в месяц: «глаза, в нормальное время умные и ясные, становились мутны и дики, желтые пятна выступали на нежном лице, появлялась на тонких губах зловещая улыбка». Но все же именно мать была главной в доме, на ней держалось хозяйство, добродушные и безвольные отец и сын беспрекословно ей подчинялись.

Не имея своего постоянного угла, семья Григорьевых несколько лет кочевала по Москве. Началась совместная жизнь родителей Аполлона с центра города. «Девица» Татьяна Андреевна проживала в доме вдовы А. С. Щеколдиной, который не сохранился; он стоял на углу Большого Палашевского переулка, на месте нынешнего дома № 2, и переулка Большого Козихинского. Именно в этом доме родился Аполлон. Крестили его в церкви Иоанна Богослова, расположенной между Тверским бульваром и Большой Бронной, как бы в продолжении Богословского переулка; в советские годы церковь была в ужасном состоянии, полуразрушена; ныне она восстановлена, приятно сияет новизной. По случайному стечению событий в этой церкви за 10 лет до Аполлона крестили А. И. Герцена. Крестной матерью

Аполлона стала хозяйка дома А. С. Щеколдина, а крестным отцом – «квартирный надзиратель Гавриил Михайлов Ильинский».

В конце 1823-го или в начале 1824 года, возможно, из-за смерти сына Николая, родители перебрались в дом купца-раскольника И. И. Казина (Ап. Григорьев писал «Козин»), в большой двухэтажный дом, сдававшийся жильцам: кроме Григорьевых в нем жили еще чуть ли не 30 человек. Он и ныне существует (Малый Палашевский пер., 6) – почти рядом с Тверской. Отсюда родители водили трехлетнего Аполлона смотреть процессию с гробом Александра I, следующую из Таганрога в Петербург, – Григорьев писал, что помнит это событие как бы «сквозь сон».

После смерти дочери Марии в 1827 году родители переехали почему-то на окраину, в Замоскворечье. Возможно, чтобы быть подальше от мест, пробуждающих тяжелые воспоминания. А может быть, их тянуло на свежий воздух, в мир садов и пустырей. Они сняли часть дома у штабс-капитанши О. Д. Ешевской, вдовы с двумя дочерьми. Дом вместе с подобным соседним одиноко стоял в Малом Спасоболвановском переулке; оба они не сохранились, находились на месте современного административного корпуса кондитерской фабрики «Рот-Фронт» (дом № 13/15; переулок теперь называется 2-м Новокузнецким). Напротив дома, на противоположной стороне переулка (дом № 10) находится церковь Спаса Преображения на Болвановке, давшая названия окрестным переулкам. В советские годы она, как и церковь Иоанна Богослова, была в разрушенном состоянии, ныне замечательно восстановлена во всей былой красе.

На купеческой и разночинной окраине Москвы два дворянских дома выглядели ино-родцами. Вот как описывает новое жилье родителей Ап. Григорьев: «Как теперь видится мне мрачный и ветхий дом с мезонином, полиняло-желтого цвета, с неизбежными алебастровыми украшениями на фасаде и чуть ли даже не с какими-то зверями на плачевно-старых воротах, дом с явными претензиями, дом с дворянской амбицией». А хозяин второго дома, «племянник вдовы, жил где-то в деревне, и дом долго стоял опустелый, только на мезонине его в таинственном заключении жила какая-то его воспитанница. И об этом мезонине, и об этой заключеннице, и о самом хозяине пустого дома, развратнике по сказаниям и фармазоне, ходили самые странные слухи».

Так Григорьев уже в раннем детстве столкнулся с темными и заманчивыми слухами и легендами, да он и сам по своей натуре страстно тянулся к таким слухам и легендам. С другой стороны, окраина, за которой располагались заводы и фабрики, впервые показала мальчику тогдашний рабочий люд.

За домом Ешевской находился большой сад, простиравшийся до Зацепы и отделявшийся от нее гнилым забором. Аполлон наблюдал сквозь щели забора, «как собирались и разыгрывались кулачные бои, как ватага мальчишек затевала дело, которое чем дальше шло, тем все больше и больше захватывало больших. О! как билось тогда мое сердце, – вспоминал Григорьев, – как мне хотелось тогда быть в толпе этих зачинающих дело мальчишек, мне, барчонку, которого держали в хлопках» (то есть в вате, в хлопке). «А в большие праздники водились тут хороводы фабричными».

В 1831-м или в начале 1832 года родители купили дом в том же Замоскворечье, но немного западнее, на улице Малая Полянка, и ныне благополучно существующей в относительно патриархальном виде, хотя и в нее вторглось современное многоэтажное строительство именно в квартале Григорьевых. И как раз дом Григорьевых, который так много видел на своем веку, был снесен в 1962 году, участок долго стоял пустым, как будто вырвали зуб, – все дома вокруг спокойно существовали, а тут – пустырь. Потом здесь построили унылый многоэтажный дом. Это дом № 12. Взорвали еще в тридцатых годах и церковь Спаса Преображения в Наливках, приходскую церковь Григорьевых, находившуюся в конце Малой Полянки, через несколько участков от дома родителей Аполлона. На фотографии 1915 года,

где дом снят с севера, от центра города, за соседним домом хорошо видна колокольня церкви. А сейчас там тоже понастроены унылые коробки домов, и так как церковь взорвали до основания, то ее уже не восстановить. Сохранилось только легкое возвышение – это место сейчас занимает детская площадка во дворе между «строениями» 1 и 2 дома № 17/1 по 1-му Спасоналивинскому переулку; у холмика можно видеть остатки церковного фундамента, а остатки церковной ограды сохранились на тротуарах у угла названного и Казанского переулков.

Дом Григорьевых был достаточно вместительным, как описывал Фет: каменный подвал с кухней и помещением для дворни; затем основной этаж, деревянный, состоящий из передней, коридоров и шести комнат (зала, гостиная, столовая, спальня, девичья, одна комната без названия – бывшая детская); наконец, вместительный мезонин под крышей, где были два отдельных помещения, в каждом по большой комнате, да еще с отгороженными спальнями.

К дому примыкали сад и довольно большой двор, где были и конюшня (отец стал держать пару лошадей), и коровник – корова приносила хозяевам свежие молоко, сливки, масло. Отец, видимо, поправил свое положение в чиновничьем мире – покупка дома с усадьбой тому верное доказательство.

В феврале 1822 года Александр Иванович поступил в Московскую казенную палату, а в ноябре, значит, вскоре после рождения Аполлона, стал штатным секретарем 2-го Департамента Московского городского магистрата. В 1842 году, в год окончания Аполлоном университета, отец все еще служил в этой должности, имея чин 9-го класса – титулярного советника (который давал право лишь на личное дворянство, а не на потомственное). Видимо, вскоре он вышел на пенсию, так как в московском адрес-календаре на 1846 год его уже нет в числе служащих.

Материальная жизнь семьи в тридцатых годах уже наладилась. А. А. Фет, пять лет (1839–1844) проживший на хлебах у Григорьевых, застал Александра Ивановича уже в достаточном довольствии: «Жалованье его, конечно, по тогдашнему времени было ничтожное, а размеров его дохода я даже приблизительно определить не берусь. Дело в том, что жили Григорьевы, если не изящно, зато в изобилии, благодаря занимаемой им должности. Лучшая провизия к рыбному и мясному столу появлялась из Охотного ряда даром. Полагаю, что корм пары лошадей и прекрасной молочной коровы, которых держали Григорьевы, им тоже ничего не стоило».

Крепостной дворни у Григорьевых было вначале четыре человека: кучер Василий, его жена Прасковья (старшая нянька и кухарка; она была вольной, но, овдовев, вышла по страстной любви за непутевого Василия и тем самым сама себя закрепостила), слуга Иван, младшая нянька и горничная Лукерья, да еще в дом были взяты из деревни дети, специально для Полошеньки – почти ровесник ему Ванюшка и чуть постарше Марина. Когда отец стал более зажиточным, он еще купил повара Игнатия. Лукерья тогда стала женой повара.

Жизнь родителей шла почти в обломовском духе, если не считать службы Александра Ивановича и потому необходимости принаравливаться к часам. Вставал хозяин рано, в начале восьмого, вскоре вставала и Татьяна Андреевна. Иван ставил самовар, Лукерья шла одевать и обувать Полошеньку (вот уж где была чистая обломовщина: мальчика одевали до тринадцатилетнего возраста). А когда Аполлон подрос, как вспоминал Фет, он уже сам будил родителей: садился в зале за рояль и сонатами заменял будильник. Семья собиралась в столовой, пила чай, Аполлону отец наливал большую кружку и клал немисливо много сахара.

Затем Василий запрягал пару и отвозил хозяина в магистрат, а к двум часам, если только не было чрезвычайных происшествий (приезд начальства, ревизии и т. п.), привозил домой. Иногда, и довольно часто, Александр Иванович возвращался пешком, тогда Василий ехал за Аполлоном в университет. На двух часах дня служба отца и кончалась. Сле-

довал сытнейший обед, потом родители отправлялись в спальню соснуть. А после сна, около пяти часов – чай, вроде английского «файвоклока». По праздникам ходили к обедне в Спасоналивкинскую церковь. Около восьми часов снова семейный сбор, вечерний чай. В девять слуги отпускались, шли на кухню ужинать и пьянствовать. Алкоголем злоупотребляли неслыханно. Когда Александр Иванович пожелал купить дом, то при поисках однажды сознательно отказался от добротного и дешево продававшегося дома только из-за того, что близко был кабак: пришлось бы ежедневно вытаскивать оттуда своих людей. Василий иногда и днем так напивался, что лошадьми правил хозяин, а позднее подросший Аполлон, поддерживая другой рукой Василия, чтобы не свалился под колеса. Да и Иван частенько напивался. Слушая споры Аполлона и его товарищей на философские темы и твердо запомнив имя «Гегель», пьяный Иван однажды при театральном разезде крикнул на всю площадь вместо «карету Григорьева!» – «карету Гегеля!». За это он получил прозвище «Иван Гегель».

Молодые слуги Иван и Лукерья отличались вольным поведением, иногда ночи напролет пировали со своими соответственно любовницами и любовниками. Хозяева лениво пытались бороться с излишествами слуг: Александр Иванович по доброте своей чаще всего закрывал глаза, но иногда взрывался гневом, даже полицию призывал, а Татьяна Андреевна методично и постоянно отчитывала домашних, поедом их ела, но проку было мало: все продолжалось по-прежнему. Наверное, слуги про себя люто ненавидели «барыню», выскочившую из грязи в князи (Фет писал о ненависти Лукерьи), но внешне, конечно, не подавали вида.

К десяти часам хозяева отправлялись в спальню, но не на покой, а для семейного чтения вслух (читал, конечно, Александр Иванович) душещипательных сентиментальных романов. Чтение иногда затягивалось до часу ночи. Когда у сына Аполлона появился домашний учитель С. И. Лебедев, он тоже был привлечен к вечерним чтениям, сменяя Александра Ивановича. Детская находилась рядом со спальней родителей, через стенку было довольно хорошо все слышно, и юный Аполлон обычно со страстью вслушивался в тексты читаемых романов и повестей, с детства вобрав в себя круг родительского чтения и регулярно не досыпая положенного мальчику срока.

А круг чтения был весьма разношерстным, включая и шедевры, и, как бы мы сейчас сказали, «ширпотреб»: «...читалось целым гуртом, безразлично... и Пушкин, и Марлинский, «История государства Российского», и «Иван Выжигин», и «Юрий Милославский» (перечислены произведения Н. М. Карамзина, Ф. В. Булгарина, М. Н. Загоскина. – Б.Е.), и романы Вальтера Скотта, выходившие тогда беспрестанно в переводах с французского. Чтение производилось пожирающее. Но в особенности с засосом, сладью, искреннейшей симпатией и жадностью читались романы Радклиф, Жанлис, Дюкре-Дюмениля и Августа Лафонтена».

Да, видимо, главным чтивом, потребляемым с особенной «сладью», была литература юности Александра Ивановича (он приобщил к ней и более молодую жену), предромантическая и сентиментальная проза: «готические», то есть «черные» романы, полные мистики и приключений, и близкие к ним «рыцарские» романы, создаваемые англичанами, французами, немцами на грани XVIII и XIX веков. В отечественной литературе, как подчеркивал сын, отец тоже остановился на Державине и Карамзине; к Пушкину, понимая его великий талант, отнесся более сдержанно; Жуковского как-то обошел (слишком «заоблачно» для «земного» отца); Грибоедова и Рылеева считал очень талантливыми, но «злыми». Сын перейдет вскоре на следующий этап в развитии европейской культуры – романтический, он лишь начинал приобщаться к художественной литературе с помощью чтения вслух у родителей.

Детство

Самые ранние годы жизни Аполлона Григорьева приходятся на потрясшее Россию, особенно Петербург и Москву, восстание декабристов 1825 года и на время арестов и репрессий после подавления бунта; в дворянских кругах, в семьях, которые почти все были как-то причастны родственно или идейно к декабристам, воцарилась атмосфера страха и уныния, куда более мощная и долговечная, чем аналогичные настроения 1790-х годов, после арестов Новикова и Радищева. Сам Ап. Григорьев считал, что он трехлетним ребенком ощутил соответствующие настроения, но гнетущая атмосфера уже на своем исходе крепко задела нашего героя: это произошло позднее, когда он стал студентом, а маленький мальчик лишь косвенно ощущал ее, что выразилось в его романтических предпочтениях и увлечениях, тем более что генетически он обладал экзальтированной, страстей натурой и почва была весьма благодатной для восприятия темных легенд о «фармазоне», о чем уже говорилось в предыдущей главе, «черных» романов, позднее – поэзии Байрона, Мицкевича, Пушкина.

В раннем детстве Григорьев был лишен школьного воспитания, у него не было сверстников-наставников, да и взрослые учителя появились позже. А воспитательное окружение – это дворня. В таком окружении мальчик рано познакомился с цинической изнанкой жизни, рано выучил матерные ругательства, но, с другой стороны, это было живое общение с народом, очень много давшее барчуку и положительного; он прекрасно понимал такой плюс: «А много, все-таки много обязан я тебе в своем развитии, безобразная, распущенная, своекорыстная дворня...» Годы напролет мальчик слушал народные песни и сказки (увы, в том числе и скабрёзные сказки про попадьё и поповну), за годы детства переиграл со слугами во все народные игры. В доме часто жила крестьяне из отцовской деревеньки, которые «подавали жара моему суеверному или, лучше сказать, фантастическому настрою новыми рассказами о таинственных козлах, бодающихся в полночь на мостике к селу Малахову, о кладе в Кириковском лесу», да еще какое-то время в мезонине жил брат бабушки Аполлона, который «каждый вечер рассказывал с полнейшею верою истории о мертвецах и колдуньях».

Вольная жизнь Аполлона продолжалась до шестилетнего возраста; до этого лишь мать понемногу занималась с сыном, уча его по старинке, как и ее учили, читать по буквам и складам: «буки-рцы-бр». Слава Богу, Аполлон был талантлив и памятен, учение схватывал на лету. Но на седьмом году сына отец, по своей дворянской амбиции не желавший отправлять ребенка в городскую школу или гимназию, решил нанять ему хорошего домашнего учителя. Таковым оказался Сергей Иванович Лебедев, сын священника из подмосковного села Перово, только что окончивший семинарию и только что поступивший на медицинский факультет Московского университета. Учитель должен был преподавать ученику все предметы. Из упоминаемых Григорьевым мы знаем Священную историю, гражданскую всемирную историю, русский и латинский языки, математику. Поселили Сергея Ивановича у себя, в соседней со спальней Аполлона комнате (дело было еще в доме Ешевской на Болвановке); кроме крова и сытного стола Сергей Иванович получал еще какую-то жалкую мзду.

Мягкий и романтический, учитель был очень нетребовательным педагогом, но Аполлон благодаря талантам и памяти все быстро схватывал, прочно выучивал, исключая математику, которая ему никогда не давалась. Настоящих уроков и отведенных для занятий часов у учителя и ученика не было. После утреннего чая Сергей Иванович задавал уроки, уходил часа на три университет и потом перед обедом или после спрашивал заданное. Аполлон ненавидел латынь и математику, но в латыни побеждала память (Аполлон так хорошо выучил язык, что прекрасно понимал все интимные разговоры на латинском языке, которые вел Сергей Иванович с пришедшими к нему товарищами, предполагая, что мальчик ничего не поймет), а в арифметике ученик нещадно жульничал, подставляя в ответе цифры наобум.

Впрочем, он жульничал и в латыни: заметив, что учитель задает уроки по учебнику, который прятал потом в выдвижном и запираемом ящике кровати, ученик подобрал ключ, бесстыдно отпирает ящик, когда учитель был в университете, и доставал учебник с упражнениями и ответами, да заодно еще не по возрасту просвещался, рассматривая хранившиеся в ящике некие картинки.

Вечерами обучение могло продолжаться исподволь: Сергей Иванович в сумерках лежал на диване, Аполлон пристраивался рядом и «шарил» в волосах учителя, а тот, в свою очередь почесывая голову ученика, рассказывал ему эпизоды из древнеримской истории.

Еще сына обучали в детстве музыке, Аполлон прекрасно играл на фортепиано. Позднее он пристрастится к гитаре и на ее фоне создаст свои лирические шедевры.

Когда сын подрос, отец нанял ему еще гувернера француза, общение с которым принесло Аполлону прекрасное знание французского языка. Подросток, он жил уже наверху, в мезонине, занимая северную квартиру, а в аналогичной южной жил гувернер. За год до поступления Аполлона в университет француз стал сильно попивать: то ли от двора научился, то ли своим телом дошел. Однажды он так накачался, что слетел кувырком по ступенькам лестницы до самого низу. Любивший комические эпизоды Александр Иванович в торжественном тоне рассказывал потом об этом событии и заключал: «Снисшел еси в преисподняя земли». Ясно, что гувернер был тут же уволен.

Литературное воспитание отрока началось, как говорилось, с подслушивания родительского чтения переводных «готических» и рыцарских романов. Впрочем, не только подслушивания. Мальчик быстро нашел место, куда отец припрятывал до следующего вечера очередной роман, нырял в родительскую спальню утром, когда там никого не было, возвращался к себе, держал наготове латинскую грамматику, чтобы в случае прихода взрослых быстро прикрыть ею запретную книгу, и осваивал пропущенные или плохо расслышанные места, да еще и вперед забежал.

Эти духовные кражи (с возвратом!) внесли в душу Григорьева твердое убеждение, что любые цензурные запреты нелепы и вредны. Когда четверть века спустя он сам стал домашним учителем юного князя И. Ю. Трубецкого, то рассказывал ему русскую и западноевропейскую историю без всяких купюр и непедагогично помогал своему ученику восстанавливать купюры, исходившие от других учителей: гувернер князя англичанин Белль подарил своему воспитаннику том «Family-Shakespeare»: Шекспир для семейного чтения, сильно «кастрированный», как выражался Григорьев, который тут же помог князю с помощью своего неурезанного Шекспира восстановить все изъятые строки; именно эти строки ученик и выучил наизусть, приводя в ужас добродетельного гувернера...

Вкусы Сергея Ивановича и его университетских товарищей демонстрировали следующую стадию по сравнению с увлечениями Григорьева-отца: романтизм. Байрон и Пушкин, Полежаев и поэты-декабристы, знаменитые тогда журналы «Московский телеграф» Н. А. Полевого и «Телескоп» Н. И. Надеждина – вот что обсуждалось и цитировалось на вечерних сходках в комнате учителя, и Аполлон жадно все это впитывал.

А в Большом театре, тогда драматическом, властвовал над умами и душами молодежи великий трагик П. С. Мочалов.

Из западноевропейской литературы, помимо Байрона, становились крайне популярными романы Вальтера Скотта и особенно произведения, по формуле Ап. Григорьева, «юной французской словесности» (Гюго, Бальзак, Сент-Бёв).

Западноевропейские духовные потрясения в связи с французскими революциями и наполеоновскими войнами вызвали невиданно мощный подъем гуманитарного творчества, породив гениев в философии (Фихте, Шеллинг, Гегель), музыке (Бетховен), в литературе, где возник особенно разноцветный спектр от консерваторов Скотта и Шатобриана до почти революционных Байрона и Гюго. И эти бурные взлеты совпали в России с тягостным, гнету-

щим прессом николаевской реакции после разгрома декабризма. Романтический Запад давал духовную отдушину, духовный свет, в лучах которого русский интеллигент мог хотя бы платонически, хотя бы на время ощутить себя свободной творческой личностью.

С другой стороны, этот романтический ореол порождал внутренний духовный протест талантливых людей, вырывавшийся наружу и, конечно, быстро оказывавшийся под железным прессом николаевской реальности: личностей терзали, сламывали, ссылали, запрещали печататься... У всех на виду тогда оказывалась трагическая судьба Полежаева, Полевого, Чаадаева, Надеждина. Как подчеркивал в воспоминаниях Григорьев: «Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки (имеются в виду романсы А. Е. Варламова. – Б.Е.) дают отзыв этому настрою».

Постоянные гонения, наказания еще больше способствовали массовому развитию романтических увлечений, но в специфически субъективистском роде: если внешняя жизнь страшна и опасна, то нужно замкнуться, уйти в себя, в мир рефлексий или фантастических грез; индивидуализм и рефлексированность становились тоже формой протеста против мрачной и неуютной действительности. Таковым было поколение Ап. Григорьева. Характерно, что более старшие московские юноши оказывались более открытыми внешнему миру, они больше интересовались социально-политическими вопросами.

Хотя между рождением Белинского, Герцена, Огарева, с одной стороны, и ровесников Ап. Григорьева – с другой, интервал всего около десяти лет, но разница между ними огромная: первые воспитались на 1812 годе и декабристских идеях, почти взрослыми юношами встретили николаевскую эпоху, а вторые с малолетства выросли в атмосфере этой эпохи. Герцен на примере В. А. Энгельсона, близкого к петрашевцам и почти ровесника Григорьева (родился в 1821 году), наблюдал отличие двух исторических типов: «На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей не столько талантливых, не столько развитых, но с тем же видовым, болезненным надломом по всем суставам. Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломавшись, все же уцелели <...> Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имея двадцати лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни» («Былое и думы»).

Герцен как бы с высоты своего кругозора и чуть-чуть со стороны видел в этом поколении социальную ущербность, страшные последствия николаевского прессы, давящего Россию; Григорьев же «изнутри» считал свою романтическую гипертрофированность чуть ли не нормой, по крайней мере достоинством. Да и в самом деле, из сосредоточенного самонаблюдения могло ведь вырасти чувство достоинства, значимости и независимости личности... Так что – еще раз подчеркнем – и крайности интроспекции, рефлексии были тоже косвенной формой протеста, по крайней мере – романтической формой неприятия нивелирующей личность действительности. Недаром поколение, родившееся в 1819–1822 годах, дало так много поэтов романтического плана: А. А. Фет, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, Н. Ф. Щербина, Ап. Григорьев. Любопытно также, что реалистическая «натуральная школа» (оказавшая, впрочем, воздействие на поколение Григорьева) создавалась главным образом ровесниками 1812 года (именно в этом году родились А. И. Герцен, И. И. Панаев, Е. П. Гребенка, И. А. Гончаров) или даже более старшими современниками (В. И. Даль) – и лишь Н. А. Некрасов и Д. В. Григорович были ровесниками Григорьева. Еще один знаменитый ровесник, Ф. М. Достоевский, хотя и примкнул вначале к «натуральной школе», но сразу же занял в ней совершенно особое место. О творческих связях Григорьева и Достоевского, об их личных взаимоотношениях еще будет у нас идти речь.

Итак, романтически воспитанный не конкретной средней школой или гимназией, а эпохой в целом, конкретно же обученный семинаристом-студентом С. И. Лебедевым и французом-гувернером, Ап. Григорьев к шестнадцати годам был достаточно созревшим для поступления в университет. Отец перед поступлением еще, видимо, нанимал для сына квалифицированных учителей; А. А. Фет, например, обмолвился в своих воспоминаниях, что по истории Аполлона подготавливал И. Д. Беляев, видный ученый, будущий профессор Московского университета.

Единственная антибюрократическая реальность тогдашнего русского высшего образования – это отсутствие необходимости представлять при поступлении в университет какой-либо аттестат или диплом об окончании средней школы. Главное – сдать длинный ряд вступительных экзаменов. Отец решил в 1838 году, что сын хорошо подготовлен к поступлению в университет, и начал хлопотать – уже не об аттестате зрелости, а о документах из мещанской управы. Дело ведь в том, что усыновленный «незаконнорожденный» Аполлон не имел никаких дворянских привилегий, он числился мещанином, принадлежал к податному сословию, поэтому требовалось разрешение на университетское обучение, приводящее к выходу из сословия. Конечно, отцу с его чиновничьими связями, наверное, не так уж трудно было получить отпускное свидетельство, где Аполлону разрешалось поступать «по ученой части» и сообщалось о согласии мещанского общества на его увольнение из сословия (но это лишь формально; фактически же увольнение из податного сословия происходило только по окончании университета). Заодно давалась паспортно-полицейская характеристика юноши «росту немалого, лицом бел, глаза голубые, волосы светло-русые». Начиналась совсем новая жизнь Аполлона.

К сожалению, мы ничего не знаем о собственном его творчестве в студентческий период. Ясно, что он уже писал стихи. Из случайной поздней реплики Григорьева в письме к Ф. А. Кони 8 марта 1850 года мы с удивлением узнаем, что в 1837 году, то есть пятнадцатилетним, он перевел трагедию Шекспира «Король лир»! Правда, тогда юноша не знал английского и переводил текст с французского перевода, потому потом и стыдился своей детской работы, но ведь Шекспир! и целая шекспировская трагедия.

Университет

Итак, благополучно сдав вступительные экзамены, Аполлон стал в 1838 году слушателем Московского университета. По настоянию практичного отца он пошел на юридический факультет, который совершенно бы не нужен был романтику и поэту: конечно, ему надо было бы поступать на словесное отделение философского факультета. Но сын тогда был паинька, он не смел ослушаться отца и так и окончил юридический факультет.

Юноши, поступающие в университет в николаевское время, делились на три категории; классификация четко отражала социально-сословную иерархию той поры: *своекоштные* студенты, дети богатых дворян и священнослужителей, жившие дома и на содержании родных; *казенно-коштные* студенты, дети бедных родителей, принадлежавших к привилегированным сословиям, содержавшиеся за счет университета (общежитие, казенная одежда, казенное питание); *слушатели*, дети лиц из податных сословий, они получали лишь по окончании университета чин и полное освобождение. Мещанин Григорьев был слушателем. Как острит декан Крылов, слушатели и есть настоящие слушатели, а «настоящие» студенты часто пропускают занятия.

Григорьев стал студентом, то есть точнее – слушателем первого университета России в удачное время. Конец 30-х и начало 40-х годов для Московского университета стали периодом явного расцвета после долгой полосы застоя и мрака, той полосы, в которую попали сперва Полежаев, а затем Белинский, Герцен, Лермонтов... Об этой мрачной эпохе сохранились живые, хотя и краткие очерки в университетских главах «Былого и Дум» Герцена и обстоятельные характеристики – в «Моих воспоминаниях» академика Ф. И. Буслаева (М., 1897). Буслаев учился в Московском университете как бы в интервале между Герценом и Григорьевым: с 1834 по 1838 год, поэтому описал и старые порядки, и новшества после 1835 года.

В 1835 году попечителем Московского учебного округа и таким образом «хозяином» университета был назначен видный вельможа граф С. Г. Строганов. Он презирал «выскачку» С. С. Уварова, министра народного просвещения и в меру своих возможностей старался быть самостоятельным, ограждая университет от петербургского начальства. Благодаря своей относительной независимости и гордому желанию сделать «свой» университет лучшим Строганов мог отбирать среди талантливой научной молодежи действительно достойных преподавателей, обеспечивать их штатными местами, заграничными командировками, средствами на публикацию трудов и т. п.

Поэтому в университетские годы Григорьева во главе ведущих гуманитарных кафедр стояли Т. Н. Грановский (всеобщая история), П. Г. Редкин (энциклопедия права), Д. Л. Крюков (римская словесность и древняя история), которые ошеломляли юношей потоком совершенно новых идей и фактов, только что добытых европейской наукой, знакомили с новейшими методологическими учениями, прежде всего – с гегельянством (хорошее знание Гегеля Григорьев вынес из университетских занятий). Декан юридического факультета Н. И. Крылов, возглавлявший кафедру римского права, обучал студентов методам романтической школы французских историков.

Наш Аполлон слушал лекции этих профессоров, отдавал им должное, в числе лучших студентов-старшекурсников был приглашаем в дом Н. И. Крылова на его семейные вечера (позднее, женившись на свояченице декана, Григорьев даже стал его родственником), но все же ни к одному профессору студент не оказался так близок, как к М. П. Погодину.

Михаил Петрович Погодин (1800–1875) – необычная фигура в кругу московских профессоров. Сын крепостного крестьянина, пробившего дорогу к освобождению благодаря способностям и усердию, он тоже делал свою жизненную карьеру сам, пойдя дальше отца.

Оставленный при университете по его окончании, он довольно быстро защитил магистерскую и докторскую диссертации, стал профессором, получил кафедру русской истории, позднее избран академиком Санкт-Петербургской академии наук. Наряду с преподавательской и научной работой Погодин еще был известным журналистом: он издал несколько альманахов, редактировал видные журналы «Московский вестник» (1827–1830) и «Москвитянин» (1841–1856); в молодые годы он создавал и художественные произведения; неплохие повести, драму «Марфа-Посадница», положительно оцененную Пушкиным.

Мировоззрение Погодина было очень эклектичным, в отдельных своих элементах попросту противоречиво несоединимым (он, например, постоянно говорил о строгости, даже математичности своего метода исторических доказательств и в то же время часто опирался на случайности, на божественное чудо – последнее, как увидим, особенно импонировало Григорьеву). В целом же Погодина можно назвать демократическим монархистом. Выйдя из народа, болея за народ, мечтая об его освобождении от крепостного рабства и, с другой стороны, будучи совершенно чуждым аристократической элите и дворянской спеси, Погодин по своему осторожному и прагматическому характеру никогда не являлся не то что революционером, но даже и свободолюбивым либералом: он защиту от аристократизма и дворянского самоуправства (точно так же и от радикальных движений) видел в монархическом строе. Подобно славянофилам он развивал идею о добровольном призвании народом правителей (придерживался варяжеско-норманнской теории относительно первых русских князей), но если славянофилы подчеркивали, что народ, отдав власть, оставлял себе силу общественного мнения и совета, то Погодин этот аспект забывал и полностью погружался в деятельность властей государства. Поэтому, будучи близок к славянофилам по монархическому консерватизму, по русофильству, по элементам панславизма, резко расходился с ними в оценке Петра I, реформаторская и как бы «антибоярская» деятельность которого была ему очень по душе.

Из-за своего консерватизма постепенно отставая от методологического развития исторической науки (сменивший его на кафедре в 1844 году товарищ и сокурсник Григорьева С. М. Соловьев весьма невысоко оценивал своего предшественника), Погодин, однако, всегда стремился работать с первоисточниками, с рукописными и вещественными материалами, учил этому студентов и тем самым привлекал их к себе. В то же время профессор использовал толковых студентов для своей журналистики: предлагал какие-либо переводы и компиляции для отдела «Смесь», давал вычитывать корректуры очередного номера «Москвитянина». Причем все это за гроши. Погодин генетически отличался практической сметкой; в своей журналистской деятельности он рассчитывал не только на культурный вклад и успех, но и на барыш. Но корысть в журналистике вещь обоюдоострая, необходим дьявольски умный расчет, гибкость, учет всех факторов, чтобы не прогадать, особенно когда речь идет о привлечении талантов: если работников взять «числом поболее, ценою подешевле», успеха не будет, а если начать привлекать яркие таланты, то им и платить надо существеннее...

Погодин оказывался ловким коммерсантом при «разовых» операциях, например, когда он выгодно продал государству свое обширное «Древлехранилище» рукописей и предметов, но при длительной журналистской работе его губила скупость, ему постоянно хотелось набирать сотрудников «ценою подешевле». Поэтому захирение его журналов – плод не только реакционного содержания, но и скупости редактора-издателя, не желавшего тратить большие деньги на приобретение выдающихся произведений отечественной словесности.

Вот к какому наставнику прикипел Аполлон Григорьев, еще будучи студентом. Он с ним оказался связанным на всю свою недолгую жизнь; начав с незначительного участия в «Москвитянине» в первые послестуденческие месяцы, затем опять же краткосрочно пытаясь сотрудничать в журнале в 1847-м – начале 1848 года, он на шесть последних лет суще-

ствования «Москвитянина» стал его главным литературным критиком; потом до самой кончины Григорьева не покидала мысль о возможном возобновлении журнала.

Погодин, как бы воплощая будущую мечту Н. Ф. Федорова сохранять все, созданное человечеством, не выбрасывал ни одной бумажки из своего дома, поэтому его громаднейший архив, в целом дошедший до наших дней, включает полторы сотни писем Григорьева к его бывшему профессору, писем, содержащих обширные и уникальные сведения самого различного рода – в книге это собрание будет неоднократно использовано.

Любопытно, что Григорьев оказался довольно чуждым другу Погодина и соратнику того по «Москвитянину» профессору Степану Петровичу Шевыреву. Лекций его Григорьев не слушал (Шевырев читал юристам русскую словесность на первом курсе, а в 1838–1840 годах он находился в Риме), да и позднее не оценил, видимо, не принимая крайней умеренности, консервативной старомодности социальных и эстетических воззрений профессора. Григорьев писал Е. Н. Эдельсону 5 декабря 1857 года: «В былые времена мы уже достаточно срамились общением с разною гнилью, вроде Шевырева». Впрочем, в шестидесятых годах он в противовес легкомысленным нападкам радикалов готов был защищать исторические заслуги Шевырева.

Талантливый Григорьев уже на первом курсе университета был замечен преподавателями. По какому-то предмету он к семестровому (полугодовому) зачету подал сочинение на французском языке. Преподаватель не поверил, что такое серьезное исследование, да еще по-французски, мог написать юный студент. Не поверил и попечитель, граф С. Г. Строганов. Вызвал Григорьева и начал с ним говорить по-французски. Убедился, что тот сам писал. И заключил беседу: «Вы заставляете слишком много говорить о себе, вам надо стусеваться». Граф невольно, даже, наверное, не задумываясь, высказал пожелание, типичное для всех деспотических режимов: сиди тихо, не высовывайся, жди, когда тебя за угодливость и старательность наградят начальники...

Однако Григорьев невольно же становился одной из центральных фигур на курсе, да и шире, в университете вообще: слишком ярок был и талантлив, да еще с каким-то романтическим ореолом: «...юноша с профилем, напоминавшим профиль Шиллера, с голубыми глазами и с какой-то тонко разлитой по всему лицу его восторженностью или меланхолией», – вспоминал Я. П. Полонский. Очень быстро вокруг него образовались философский и поэтический кружки. Под влиянием лекций профессоров Редкина и Крылова, постоянно ссылавшихся на Гегеля, Аполлон серьезно занялся философской литературой современности, в первую очередь, конечно, трудами Гегеля. Так характеризовал Григорьев свою альма-матер в более поздних воспоминаниях: «...университет таинственного гегелизма, с тяжелыми его формами и стремительной, рвущейся неодолимо вперед силой». Тогда на русский и на французский языки Гегеля только начинали отрывочно переводить, и желающему по – настоящему штудировать его грандиозное по объему, а не только по содержанию, учение нужно было хорошо знать немецкий. Здесь тоже блестяще проявились способности Григорьева – он самостоятельно сел за незнакомый язык, в основном изучая именно философские книги; первое время часто обращался к Фету, хорошему знатоку (у него ведь мать немка, да и учился он в немецкой школе), а через полгода читал Гегеля почти без справок и спотыканий.

В философский кружок Григорьева входили Я. П. Полонский, А. В. Новосильцев, С. М. Соловьев, кн. В. А. Черкасский и другие студенты. После Григорьева самым видным участником собраний был Николай Михайлович Орлов, сын опального, сосланного в Москву декабриста М. Ф. Орлова, который не пострадал больше лишь потому, что был родным братом приближенного к Николаю I шефа жандармов князя А. Ф. Орлова.

Н. М. Орлов четко, логически мыслил, он, например, сообщал товарищам, что может математическим методом доказать существование Бога. Сохранилась тетрадка, где он начал излагать свои философские воззрения (текст не окончен). Любопытно, что изложение оза-

главлено «По просьбе Григорьева» и начинается прямым к нему обращением: «Ты верно помнишь, любезный друг, что в прошлое воскресенье, когда мы все собрались у тебя, вследствие философического разговора, завязавшегося между нами, вы все просили меня систематически изложить мои взгляды на бумаге. Так как мне показалось, что ты более всех моих товарищей в твоей духовной жизни идешь дорогой прямой, и что ты менее всех их находишься под влиянием предрассудков, впрочем очень простительных, то я решился адресовать этот опыт тебе, в надежде, что ты будешь отвечать мне так же откровенно и беспристрастно, как и я намерен изложить тебе мои мысли».

Мировоззрение Орлова достаточно эклектично, да и трудно было бы ожидать цельной и итоговой системы от восемнадцатилетнего юноши (Орлов родился в 1821 году), но все-таки оно для юного мыслителя серьезно и глубоко. В этом тексте нет математического доказательства существования Бога, автор считает, что для этого нужно было бы еще предварительно «доказать существование материи», чтобы оградить себя от «софистическо не откровенных возражений Новосильцевых, Полонских и проч.». Поэтому он принимает за аксиому «существование Божества, Духа и Материи», а далее анализирует творения Божии: человека, жизнь. Жизнь есть субъективная, духовная жизнь человека, и объективная, то есть жизнь всей материи. «Результат субъективной жизни есть Наука, Изящное, Благое» – то есть Орлов включает сюда известную троицу философов XVII–XIX веков: истина, красота, добро. «Результат объективной жизни есть: усовершенствование материального быта и применение результатов жизни субъективной к жизни материи для ее пользы и наслаждений». Но полного достижения нет, так как неполны составляющие (в примечании Орлов приводит возражение Полонского: наука в своей совокупности полна – и свой ответ: наука полна лишь в долженствовании, а не в сущности: то есть в реальности, сказали бы мы). При всей этой неполноте есть, однако, стремление к совершенству и к наслаждению, которые между тем тоже оказываются неполными.

«Предыдущее непременно должно предположить вне материи и человечества существование идеи Высшей Премудрости, Изящества и Блага, в коей одной лежит высочайшее наслаждение. Эта идея есть Бог». Таково вкратце содержание текста Орлова.

Судьба сохранила нам самую раннюю известную рукопись Григорьева, датированную 10 октября 1840 года: «Отрывки из летописи духа. Мысли и впечатления, вынесенные из жизни общественной и мыслительной». Думается, что это тоже или итог, или конспект будущего выступления на кружковом философском заседании. В какой-то степени его можно рассматривать и как ответ Орлову (или продолжение, развитие его мыслей).

Рукопись начинается главной формулой: «Бог есть *бесконечная усовершеншность* человека оконченная». Далее разъясняется смысл этого противоречивого парадокса: окончанность есть лишь в божественном идеале, а «усовершеншность» (мы бы сказали: усовершенствование) человека – бесконечна. Дальнейшие идеи о вечности, о безначальности и бесконечности, наверное, заимствованы у Гегеля; зрелый Григорьев будет решительно отрешиваться от этой «безразмерности», мы еще рассмотрим эту критику гегельянства.

Далее автор, как и Орлов, использует известную троицу понятий-областей, но приписывает ее не к «субъективной жизни», а к совершенству: «Совершенство есть истина, благо и изящное». И тогда Григорьеву легче, чем Орлову, показать неполноту этих трех ипостасей, так как совершенство недостижимо, оно не имеет пределов, оно бесконечно, то и все три категории недостижимы в полноте.

В тексте есть немало интересных «отрывков», разъясняющих общефилософские и более конкретные эстетические воззрения Григорьева: романтическое подчеркивание «момента» как единственной сущности (реальности); представление о том, что «тройственная идея» воплощается под формами, под «оболочками» (познание – оболочка истины, любовь – оболочка блага, поэзия – оболочка изящного); диалектика «человека» и «чело-

вечества», которая всегда будет занимать Григорьева и впоследствии трактоваться с другими акцентами и выводами: человек – «конечность», человечество – «безначальность и вечность»; «Но *человечества* нет, ибо конца нет: прошедшее, настоящее, будущее – не слились и не сольются посему. Есть один *момент*».

Формулировки и понятия Григорьева, как и все у него, более зыбки и непричесанно первозданны, чем аналогичное у Орлова, но они очень важны как первые опыты умственного творчества, как зародыши будущих концепций и терминов. Доморощенная и дилетантская философия была полезной школой.

«Заседания» кружка обычно проходили в григорьевском доме, в мезонине (как правило, через воскресенье). Молодежь шумела; очевидно, звуки громких споров разносились по всему дому, но родители были терпимы к гостям: слава Богу, Полошенька не пропадает где-то в неизвестности, а принимает дома хороших товарищей. Как вспоминал Фет: «Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чаю, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками».

Молодые люди, естественно, не могли целый вечер углубляться в философские дебри, перемежали серьезные разговоры шутками и пародиями. Недалекий Чистяков остроумно демонстрировал, упирая один в другой указательные пальцы, как борются между собой субъект и объект. А талантливый А. В. Новосильцев, зять чинуши Д. П. Голохвастова, помощника попечителя Московского учебного округа, развивал «гегелевскую» мысль, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьма, казарма, скотный двор, и его родственник приставлен к университету в качестве скотника. Новосильцев вообще любил пародийные триады: по его классификации дураки делятся на простых, важных и утонченных.

Философские увлечения Григорьева относятся к его ранней университетской поре, главным образом, к первому и второму курсам, к началу третьего. Потом их оттеснили литература и театр. Здесь большую роль сыграла дружба с Фетом, равнодушным к философским занятиям, зато целиком погруженным в мир поэзии.

Благодаря счастливой случайности Фет оказался сожителем Григорьева, а потом, на закате своего писательского пути оставил ценные воспоминания о юности «Ранние годы моей жизни», благодаря которым мы и знаем о Григорьеве студенческой поры. Знакомство двух поэтов произошло так. Сын помещика Орловской губернии Афанасий Афанасьевич Шеншин (вынужденный носить фамилию матери Фет, так как он, подобно Григорьеву, появился на свет до официального брака родителей) с 1837 года жил в частном пансионе М. П. Погодина, готовясь к поступлению в университет, там же он продолжал находиться первые полгода студенчества, до нового 1839 года. Еще до поступления Фет слышал от пансионного учителя истории И. Д. Беляева хвалебные отзывы о его частном ученике Аполлоне Григорьеве, тоже подготавливаемом к университету. Когда стал студентом, Фет познакомился с Григорьевым, у них оказались общие интересы – оба писали стихи, – и Фет стал бывать в доме Григорьевых. Ему очень понравилась домашняя обстановка, сам он тоже понравился старшим Григорьевым; а так как они, видимо, страшно боялись, как бы Полошенька не попал под чье-либо дурное влияние, то решили закрепить дружбу молодых людей и предложили Фету переехать к ним жить.

Он, конечно, тоже был рад такой возможности: предстояло постоянное общение с товарищем, да еще он давно хотел покинуть пансион, где из-за скупости Погодина и его матери, реальной правительницы пансиона, очень плохо кормили. И Фет стал просить отца договориться с родителями Аполлона о таком переезде; старший Шеншин специально приехал в Москву, убедился, что семья Григорьевых заслуживает уважения и симпатии, и родители быстро договорились об условиях. Фету предоставлялась южная квартирка в мезонине, та самая, которую совсем недавно занимал злополучный француз-гувернер, юноша становился

полным нахлебником семьи, и отец его платил хозяевам всего триста рублей в год (учитывалось еще отсутствие студента во время зимних и летних каникул). А в северной квартирке жил Григорьев.

Молодые люди были очень рады такому сожителю на антресолях. Для Аполлона, помимо совместных поэтических интересов, появление постояльца открывало, хотя бы щелочкой выход в мир. Родители так обожали своего ненаглядного Полошеньку, что деспотически держали его в домашней тюрьме, даже в его студенческие годы! С большим трудом ему удавалось отпроситься на вечер к сокурснику Я. П. Полонскому, тоже будущему знаменитому поэту. Но, как вспоминал Полонский, в 9 часов вечера у подъезда уже стояли сани – приехал Василий – и Аполлон прощался: «Нельзя!» А уж о театрах и говорить чего, их Аполлон мог посещать лишь с родителями. Появление Фета спасало узника: с надежным товарищем сына отпускали и в театр, и в цирк, и на вечера к друзьям.

Однако пребывание друга в доме имело и оборотную сторону. Фет, весь погруженный в стихотворство, ненавидел учебу, пропускал занятия, перед экзаменами лихорадочно спохватывался, что-то успевал освоить, но все-таки на трудных предметах (политэкономия и статистика, греческий язык) проваливался, дважды оставался второкурсником, поэтому закончил университет не в 1842 году, как Аполлон, а в 1844-м. Стало легендой, что, уже будучи солидным помещиком и семьянином, Фет, бывая в Москве и проезжая мимо университета, всегда открывал окно кареты и плевался в сторону здания...

Вольный бездельник, естественно, был плохим напарником погруженному в науки Григорьеву. Сам Фет откровенно признавался в воспоминаниях, что ему постоянно хотелось помешать заниматься соседу-товарищу. Он лез с разговорами, демонстрировал товарищу разные «спортивные» фокусы, освоенные в пансионе (например, схватить товарища за кисти рук, своими большими пальцами прижимая ладони жертвы, и быстро вывернуть его руки вверх-наружу – жертва из-за наступающей боли бессильна сопротивляться). Позднее Фет еще более коварно вмешивался: когда Григорьев стал фанатически религиозен и мог в церкви на коленях молиться чуть ли не до кровавого пота, Фет подползал рядом и начинал нашептывать другу какие-то дьявольские соблазны...

Но все это искупалось поэтическим общением. Фет донес до нас сведения о самых ранних стихотворных опытах Григорьева, который – любитель аффектов и эффектов – падал на колени и с выражением декламировал свою стихотворную драму «Вадим Новгородский», написанную торжественным пятистопным хореем:

О земля моя родимая,
Край отчизны, снова вижу вас!..
Уж три года протекли с тех пор,
Как расстался я с отечеством.
И те три года за целый век
Показались мне, несчастному.

Ироничный Фет, уже в те юные годы бывший значительно более зрелым поэтом, чем его друг, написал язвительную эпиграмму:

Григорьев музами водим,
Налил чернил на сор бумажный
И вопиет с осанкой важной:
Вострепещите! – мой Вадим.

Григорьев сам чувствовал вымученность своих ранних стихотворений, тяжело переживал неудачи и сочинял более искренние и менее напыщенные строки:

Я не поэт, о Боже мой!
Зачем же злобно так смеялись,
Так ядовито надсмехались
Судьба и люди надо мной?

Зато он сразу понял, какие мощные потенции поэтического таланта таятся в душе Фета, он без всякой зависти восхищался опытами друга, своими похвалами подталкивал товарища на творчество, выступал в качестве переписчика и систематизатора. Возможно, благодаря Григорьеву Фет в 1840 году издал первую книжечку своих стихотворений – «Лирический пантеон». А уж что мы точно знаем, со слов Фета, – именно Григорьев подготовил к печати чуть позже цикл его стихотворений «Снега»: расположил их в определенном порядке, озаглавил отдельные произведения. После нескольких стихотворений, опубликованных в «Москвитянине» в конце 1841 года, «Снега» стали первым печатным циклом Фета (появились в том же погодинском «Москвитянине» за январь 1842 года). В то время Григорьев еще не настолько был знаком с Погодиным, чтобы рекомендовать произведения друга (он это станет делать несколько лет спустя); первым старшим оценщиком стихотворений Фета стал приехавший из Италии профессор С. П. Шевырев: они ему очень понравились и именно благодаря ему были опубликованы в «Москвитянине».

Поэтические занятия и интересы Григорьева и Фета способствовали созданию в мезонине не только философского, но и литературного студенческого кружка. Третьим крупным стихотворцем был Я. П. Полонский, сокурсник, быстро сдружившийся с обитателями григорьевского мезонина. Он, как и Григорьев, поступил в 1838 году на юридический факультет, но проучился, подобно Фету, не четыре, а шесть лет: дважды проваливался на экзаменах. Фет вспоминает, что сразу оценил поэтический талант Полонского, автора «Мой костер в тумане светит...». Потом в кружок входил А. Е. Студитский, переводчик Байрона и Шекспира. Полонский и Студитский, как и были авторами опубликованных произведений: первое творение Полонского напечатано в «Отечественных записках» в 1840 году, с 1841 года он уже стал сотрудником «Москвитянина», а Студитский еще в 1839 году опубликовал сразу в двух журналах («Московский наблюдатель» и «Сын отечества») третий акт шекспировского «Отелло».

Из стихотворных опытов Григорьева-студента мы ничего не знаем, кроме отрывочных цитат в воспоминаниях Фета, зато фетовских стихотворений сохранилось очень много, благодаря публикациям в печати. Это главным образом психологические миниатюры, пейзажная лирика – во всяком случае, произведения совершенно невинные в цензурном отношении, то есть далекие от каких-либо общественно-политических, философских, религиозных тем и проблем. Фет в воспоминаниях подчеркивал аполитичность тогдашних интересов – своих собственных, да и товарищей: «... ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов».

Но это справедливо лишь отчасти. Не говоря уже о философских спорах (которые, впрочем, чужды Фету), стихотворство друзей было не только аполитично. Полонский в старости напоминал Фету о его весьма радикальных стихах, а известный архивист и библиограф П. П. Пекарский, собиравший бесцензурные тексты, сохранил у себя полный текст того запомнившегося Полонскому стихотворения Фета. Пекарский приписал, что автор Фет и еще некий студент Московского университета. Уж не Григорьев ли это? Очень похоже. В резких строках чувствуется почерк не столько Фета, сколько именно Григорьева:

Где народности примеры?

Не у Спасских ли ворот,
Где во славу русской веры
Казаки крестят народ?

(Речь, видимо, идет о ликвидации давки – нагайками! – при входе в Кремль во время больших православных праздников.)

Это стихотворение создано в первые месяцы после окончания Григорьевым университета (а Фету еще два года оставалось учиться) вот по каком поводу. Консервативный публицист и поэт М. А. Дмитриев поместил в «Москвитянине» (октябрь 1842 года) памфлет на В. Г. Белинского, нечто вроде политического доноса. Фет с товарищем ответили большим стихотворением «Автору стихов «Безымённому критику»; процитированное четверостишие – восьмая его строфа. Конечно, ни при какой погоде это произведение не могло быть тогда напечатано (оно впервые напечатано, да и то с купюрами, В.Е. Евгеньевым-Максимовым в 1940 году и поэтому расходилось в списках; В. П. Боткин прислал копию Белинскому, который был очень доволен).

Конечно, для Фета такой жанр был случайным эпизодом, а вот для Григорьева, если только именно он был соавтором, совсем нет – стихотворение может рассматриваться как предтеча его будущих социально-политических памфлетов.

Кроме университетских дел и вечерних собраний друзей Григорьев-студент был весь погружен в чтение. О штудировании философских сочинений уже говорилось; однако главным предметом чтения была художественная литература. Фет вспоминал, что, придя в григорьевский дом, он застал Аполлона с головой погруженного во французскую романтическую литературу; кумирами были В. Гюго («Собор Парижской Богоматери» и драмы) и скучный Ламартин. Фет способствовал охлаждению друга к Ламартину и переходу к поэзии Шиллера и Гёте. Затем пришло обоюдное увлечение Байроном и Гейне. Из русских современных поэтов сперва восхищались Бенедиктовым, потом, благодаря лекциям Шевырева, – Лермонтовым. «Могучее впечатление» произвел «Герой нашего времени».

И чрезвычайно велико было увлечение театром. Отрадно отметить, что родители Аполлона очень заботились о духовном образовании сына (попутно, естественно, и нахлебника) и были весьма щедры на билеты в театры. В Большом театре тогда главенствовала русская драматическая труппа с гениальным трагиком П. С. Мочаловым. Позднее в очерке «Великий трагик» (1859), посвященном другому гению-трагику, Сальвини, постоянно сравниваемому с русским «предшественником», Григорьев даст изумительно яркую картину игры Мочалова в роли главного героя шекспировской драмы «Ричард III»: «...вырисовывается мрачная, зловещая фигура хромого демона с судорожными движениями, с огненными глазами... Полияло-бланжевый костюм исчезает, малорослая фигура растет в исполинский образ какого-то змея, удава. Именно змея: он, как змей-прельститель, становился хором с леди Анною, он магнетизировал ее своим фосфорически-ослепительным взглядом и мелодическими тонами своего голоса...»

Репертуар русской драматической труппы в начале сороковых годов, когда грибоедовское «Горе от ума» и лермонтовские «Маскарад» были запрещены цензурой, а Островский еще не вышел на свое поприще, в основном строился на западной классике, русские же пьесы Кукольника и Полевого годились скорее не для Мочалова, а для кумира петербургского начальства В. А. Каратыгина, имевшего мощную, крупную фигуру, величественную осанку, зычный голос... Но и Мочалов брал в этих пьесах своим талантом, имел успех.

В Большом театре Москвы, помимо русских актеров, постоянно гастролировала петербургская немецкая оперная труппа, тоже привлекавшая Григорьева и Фета своим романтическим репертуаром. Особенно их потрясло исполнение оперы Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол». Вот описание сцены из третьего акта оперы по воспоминаниям Фета: «...подобно тому,

как нас приводил на границу безумия Мочалов, влюбленный в Орлову, так увлекал и влюбленный в Алису-Нейрейтер Бертрам-Ферзинг. Когда он, бывало, приподняв перегнувшуюся на левой руке его упавшую у часовни в обмороке Алису и высоко занеся правую руку, выражал восторг своей близости к этой безупречной чистоте фразой: «*du zarte Blume!*» (ты нежный цветок – нем.), потрясая театр самую низкую нотой своего регистра, мы с Григорьевым напропалую щипали друг друга...» (П. И. Орлова – прима русской оперы, напарница Мочалова, исполнительница роли Офелии в «Гамлете»; М. Нейрейтер и В. Ферзинг – звезды немецкой труппы.)

Григорьев несколько лет спустя, в 1846 году опубликует в журнале «Репертуар и пантеон» специальную рецензию на постановку немецкой оперной труппой «Роберта-Дьявола» и еще более страстно, чем Фет, передаст свои впечатления:

«И под звуки бесовской, безумной музыки пронеслась по сцене она, верховная жрица наслаждения, вавилонски-сладострастная грешница... О посмотрите, посмотрите как хороша она, как нага она, как она возвышенно-бесстыдна, как негою и томлением дышит ее каждое ее дыхание! Да! это искусство, это искусство, принесшее в жертву ложную жеманность, это апотеоза страсти, апотеоза томления – в очах безумство, в каждом движении – желание. Посмотрите, с каким умоляющим видом молит она Роберта, как жадно пьет она кубок, как нежно-сладострастно подает его. Посмотрите, как потом, под томительные звуки виолончеля, под эту вакхально-нежную, под эту обаятельно и тонко-развратную музыку, она то плывет в море сладостных грез, то с пылом желания стремится на грудь Роберта, то манит и зовет, то замирает в безумном, неистовом лобзании... О да! это искусство! Честь и слава искусству! (...)

Я затаил самое дыхание. Декорации исчезли передо мною; в каком-то тумане виднелись и светлых дух, и опаленный проклятием демон... Апокалипсическая, неземная драма совершалась передо мною... артист был выше всех трагиков в мире...»

В Малом театре Москвы тогда господствовала французская драматургическая труппа. Молодые люди посещали ее спектакли, но их впечатления от этих постановок были, вероятно, более бледными, чем от двух трупп Большого театра.

А попутно шли университетские занятия, коими Фет манкировал, Григорьев же послушно посещал лекции, выполнял все письменные работы, основательно готовился к экзаменам и в мае 1842 года блестяще закончил юридический факультет, заняв первое место (так и оставаясь до конца не студентом, а слушателем!), ибо на всех курсах все предметы сдавал на пятерки. Вот список сданных им предметов: на первом курсе – «Энциклопедия законов» и «История русского права»; на втором – «Законы о гражданской службе», «История римского права», «Государственные и губернские учреждения»; на третьем – «Российские гражданские законы», «Римское право», «Местные законы», «Уголовное право»; на четвертом – «Церковное законоведение», «Римское право», «Иностранные государственные законодательства», «Финансы», «Благоустройство и благочиние», «Общеправное право», «Практическое судопроизводство». Господи, сколько он времени потратил на совсем не нужные ему в дальнейшем предметы! Разве что мог профессионально писать рецензии на юридические книги; законоведение на уровне средней школы пригодилось ему позднее, когда он преподавал этот предмет в Сиротском институте и в гимназии, да что-то из практических навыков, возможно, применялось при недолгой его чиновничьей службе. Но все-таки он получил, пусть и в юридической только сфере, широкое университетское образование.

Тогда оканчивавшие университет получали одно из двух званий: «кандидат» (лучшие выпускники) и «действительный студент» (более слабые). В 1842 году степень кандидата давали тем, у кого средний балл был выше 4 1/2. Ясно, что Григорьев стал кандидатом. Диплом университетского кандидата наконец освобождал его держателя от податной зависимости, исключал из мещанского сословия.

Очарованные блестящим выпускником профессора, естественно, хотели оставить Григорьева при университете; нашлось ему и место библиотекаря. Но в России все бюрократические дела делались медленно, и лишь в декабре 1842 года, то есть через полгода по окончании университета, Григорьев получил «открепление» от мещанства и перед самым Рождеством, 22 декабря, был официально зачислен служащим университетской библиотеки, удостоившись чина коллежского секретаря, то есть сразу 9-го класса, всего на одну ступеньку ниже отцовского чина титулярного советника, заработанного десятилетиями канцелярского труда. 15 лет спустя, в 1857 году не бог весть как служивший Григорьев-сын получит чин 8-го класса – коллежского асессора; до царского указа 1845 года, «поднявшего планку» до 5-го класса, этот чин давал потомственное дворянство.

После университета

Итак, перед новым 1843 годом Аполлон Григорьев стал библиотекарем богатого книгохранилища Московского Университета. Все окружение молодого работника было уверено, что он будет таким же толковым и аккуратным, каким он был во все предыдущие годы. Оказалось – совсем наоборот. Григорьев совершенно открыто пренебрегал своими обязанностями, мер, раздавал книги, нигде не регистрируя выдачу.

Начинал проявляться один из самых тяжелых и неприятных недостатков Григорьева – его безответственность. Он мог манкировать служебными обязанностями, не выполнять чиновничью или литературную работу к обещанному сроку, набирать денег в долг и потом не думать их отдавать... Он даже частенько мучился, страдал, стыдился своей безответственности, но ничего не мог поделать с собою. Когда позднее он пристрастился к алкоголю, эта беда еще более усугубила безответственность. Приведу такой характерный пример. В начале шестидесятых годов, когда он был уже известным поэтом и критиком, он вместе с другими видными литераторами должен был участвовать в любительском спектакле «Горе от ума» в Кронштадте. Сам он выбрал себе роль Репетилова. Совсем незадолго до начала спектакля Григорьев оживленно рассказывал товарищам, как надо играть Репетилова: его обычно изображают карикатурно, глупым болтуном, а он ведь хороший знакомый Чацкого и т. д. Потом исполнитель роли исчез. Не появился перед началом спектакля. Заволновались. Послали служащего в номер гостиницы. Тот вернулся смущенным и заявил: «Репетилов неудобен». Пришлось срочно искать замену, найти человека, знающего текст Грибоедова.

Откуда появилась эта безответственность у работающего, способного, исполнительного юноши? Какие-то генетические задатки? Просчеты воспитания? Последнее как причина очень вероятно. Ведь Полошенька был в семье полностью освобожден от каких-либо обязанностей, кроме утренней игры на рояле для пробудки родителей. И его холили и как бы водили за ручку не только в университетские годы, но и потом, когда он уже стал служащим. Возможно, такое продление безответственного детства в какой-то степени атрофировало те области сознания и чувств, которые руководят ответственностью.

Но, с другой стороны, безответственность – побочная дочь безнравственности, а этическая сущность человека имеет генетические корни, так что, может быть, григорьевская этическая распушенность уходит в родословные глубины, нам неизвестные.

Считаю, что безответственность – одна из черт русского народного характера XIX века, возвращенного веками крепостного рабства: раб, как известно, лишен нравственного выбора, потому лишен и ответственности за свои поступки. И наоборот, несколько поколений дворянского существования выработали понятия достоинства, чести, ответственности. Григорьев находился как бы посредине между такими крайностями. Конечно, он не был безответственным по убеждениям, но некоторые душевные свойства располагали к неэтичным поступкам. Нужно еще учитывать его поэтическую природу. Многие грехи Григорьева вырастали из страстной натуры художника: погруженный в творчество и любовные переживания, он совершенно не думал обо всем другом: и чиновничьи обязанности, и долги уплывали в туманную реку забвения, ему становилось не до них. В дальнейшем будут неоднократно возникать парадоксальные ситуации: Григорьев в статьях истово ратовал за мораль и ответственность и в то же время в быту оказывался совершенно безответственным.

Странно, что бесшабашная раздача книг долго не была замечена начальством: очевидно, отличнику учебы, кандидату – доверяли. Григорьев прослужил библиотекарем восемь месяцев, в сентябре 1843 года он стал секретарем университетского Совета, выдержав конкурс и тайное голосование. На место секретаря претендовало четыре человека, в том

числе довольно солидный чиновник – надворный советник Петр Малицкий, но Григорьев всех победил (из 30 членов Совета за него проголосовал 21).

Секретарство в университетском Совете требовало большего напряжения сил и большей бюрократически-бумажной деятельности, чем библиотека. Но Григорьев и здесь блистательно манкировал своими обязанностями: он не заполнял нужные ведомости, совершенно не вел протоколы заседаний Совета. Профессорский мир доверял своему избраннику, его никто не проверял. В конце-то концов, конечно, все всплыло бы на поверхность, но Григорьев не дождался административного и нравственного грома, он проработал секретарем Совета всего полгода, до февраля 1844 года.

Профессура юридического факультета, конечно, надеялась, что оставленный при университете талантливый питомец, первый кандидат, продолжит учебу в научной сфере, начнет готовиться к защите магистерской диссертации. Сам Григорьев первое время, видимо, тоже предполагал делать научную карьеру, подумывал о магистерских экзаменах, его на эту стезю подталкивал и граф Строганов, но вскоре все эти планы уплыли в небытие: он был весь захвачен литературной деятельностью и страстной любовью. Правда, через несколько лет, в 1845 года уже в Петербурге он опять пожелал готовиться к магистерским экзаменам, прикрепился к столичному университету, откуда требовали из Московского аттестат кандидата, но и там первоначальным оформлением документов все и кончилось.

Первая настоящая любовь пришла к Григорьеву еще в студенческий период: он влюбился в свою «крестовую сестру» Лизу. «Крестовая» – значит, кто-то из родителей Аполлона был крестным у Лизы (возможен был бы и обратный вариант – кто – то из родителей Лизы крестил Аполлона, но по церковной метрической ведомости восприемниками при крещении Аполлона были квартальный надзиратель Ильинский и вдова Щеколдина, в то время как нам известно, что отец Лизы был сослуживцем отца Аполлона).

Увы, Лиза не откликнулась на чувства Григорьева, она влюбилась в Фета. С этой юношеской истории начинается цепь любовных неудач Аполлона, последуют, одна за другой, женщины, которые явно не могли полюбить горемычного кавалера: А. Ф. Корш, ее сестра Лидия, ставшая даже женой Григорьева, Л. Я. Визард, О. А. Мельникова, будущая сноха (жена сына) Ф. Тютчева. В чем дело? Григорьев был видный, красивый мужчина, живой человек, занимательный собеседник, не говоря уже о его познаниях и творческих способностях. Но вот не влюблялись! Единственное исключение – М. Ф. Дубровская; об их драматической истории пойдет речь дальше. Любовь – штука иррациональная, здесь логикой не возьмешь, однако «массовая» безответность все же заставляет предполагать, что Григорьеву, видно, не хватало мужественных начал: твердости, прочности чувств, силы воли, способности быть всегда опорой ближнему, наконец, той самой ответственности, о коей мы уже говорили. Зато Григорьев был полон «женственных» свойств: зыбкость и экзальтированность чувств, слабоволие, быстрое подпадание под чужое влияние...

Вряд ли Фет глубоко любил Лизу, да тогда и речи быть не могло, чтобы чиновник согласился выдать дочь за сомнительного по происхождению и по положению провинциала; Лизе быстро нашли какого-то подходящего доброго молодца, совершенно чуждого девушке. Возникла драматическая коллизия: безответная любовь Григорьева к Лизе, почти безответная любовь Лизы к Фету, выдача Лизы замуж за совершенно не любимого жениха, а шафером у невесты на свадьбе выступал истерзанный переживаниями Аполлон. Эта волнительная повесть, видимо, очень разбередила поэтические души и Григорьева, и Фета: первый по горячим следам будет откликаться на события стихотворениями, а потом напишет рассказ «Офелия» (1846), а второй уже в старости (1884) сочинит автобиографическую поэму «Студент».

Два самых ранних известных нам стихотворения Григорьева, относящиеся к 1842 году, посвящены именно истории с Лизой. Первое озаглавлено шифром: «Е.С.Р.»:

Да, я знаю, что с тобою
Связан я душой;
Между вечностью и мною
Встанет образ твой.

Связан буду я с землею
Страстию земной, –
Между вечностью и мною
Встанет образ твой.

Второе, без заглавия, описывает момент венчания Лизы:

Нет, за тебя молиться я не мог,
Держа венец над головой твоею.
Страдал ли я, иль просто изнемог,
Тебе теперь сказать я не умею, –
Но за тебя молиться я не мог...

Я пытался расшифровать буквы заглавия первого стихотворения. Е – конечно, Елизавета. Тогда С. Р. – инициалы ее отца? По намекам в «Офелии» и «Студенте» можно судить, что семьи Григорьевых и Лизы жили недалеко и что их отцы были сослуживцы. С помощью московских справочников той поры можно установить, что в начале сороковых годов по месту проживания и по должности инициалам С.Р. больше всего отвечает Семен Кузьмич Радостин, коллежский регистратор, писец Московского губернского правления. Но в «Офелии» упомянуто отчество Лизиного отца – Елисеевич. Если это соответствует реальности, то тогда среди прямых сослуживцев Александра Ивановича Григорьева по 2-му департаменту Московского городского магистрата был то же, как и Григорьев, секретарь Тихон Елисеевич Стрекалов, титулярный советник; и жил он совсем близко от Григорьевых. Значит, тогда первые две буквы можно расшифровать как «Елизавете Стрекаловой». А что такое Р.? Какое-то заветное слово? Пока шифр все-таки остается загадкой.

Рана от первой любви зарубцевалась быстро. От второй кровоточила почти полтора десятилетия, пока не была вытеснена еще более сильной третьей. История этой второй любви такова.

Декан юридического факультета Н. И. Крылов женился в 1842 году на красавице и, видимо, бесприданнице Любове Федоровне Корш. Она была дочерью известного московского врача Федора Адамовича Корша. Семья была немецкого (а некоторые исследователи еще считают и еврейского) происхождения, но уже совсем обрусевшая. За свою долгую жизнь отец семейства от двух браков произвел на свет 22 ребенка, огромное количество детей даже по меркам XIX века. В 1837 Ф. А. Корш скончался, оставив жену Софью Григорьевну с большой оравой непристроенных сирот. Более старшие дети, не родные Софье Григорьевне, в основном уже вышли в люди, но добрый десяток ее детей нуждался в поддержке, тем более, что в большинстве это были девочки. Мать дала им хорошее домашнее образование (вначале еще с помощью мужа) и начала «планово» выдавать замуж. Выход Любове за видного профессора и декана был, наверное, не только сам по себе приятен матери, но она еще умело рассчитала, что с его помощью можно будет найти университетских женихов для младших дочерей.

С. Г. Корш стала устраивать у себя вечера-журфиксы, и зять Никита Иванович, наверняка при ее подталкиваниях, тоже открыл двери своего дома младшим товарищам и отлич-

ным студентам-старшекурсникам. Григорьев оказался в числе таких первых приглашенных в семейный дом Крыловых. Он сразу же обратил внимание на двух младших сестер хозяйки – Антонину и Лидию – и страстно влюбился в первую.

Антонина была на год моложе Аполлона, то есть в 1842 году ей было 19 лет. Живая, неглупая, образованная в литературе и музыке, красивая, с интересным сочетанием смуглости и голубых глаз (Григорьев писал в стихотворении «Обаяние»: «Когда из-под темной ресницы / Лазурное око сияет...»). Везло Григорьеву на голубоглазых брюнеток: таковой же будет Л. Я. Визард.

Аполлон часто, чуть ли не каждый вечер, стал встречаться с Антониной, он снабжал ее художественной литературой (благо он был библиотекарем!), приносил ноты новейших опер, фортепьянных произведений, романсов. Что-то ему, особенно ноты, приходилось покупать – влезал в долги. Во Франции всходила новая литературная звезда – Жорж Санд, и Григорьев вместе с семьей Коршей страстно увлекся писательницей. Григорьев стал подписывать свои стихотворения и повести псевдонимом «А. Трисмегистов», заимствованным из романа Жорж Санд «Графиня Рудольштадт» (Трисмегист – псевдоним главного героя, графа Альберта). А Антонине он присвоил имя Лавинии, героини одноименной повести Жорж Санд. Любовь Григорьева к Антонине Корш отражена во многих стихотворениях; их больше десяти, и три из них одинаково названы этим именем: «К Лавинии». Поэт избрал псевдоним для любимой чрезвычайно емкий и многозначный. Помимо прямых ассоциаций с жоржсандовской героиней, звучание слова навеивает целый комплекс смыслов: лава, лавина, вина, возможно – английское «лав», любовь... (Интересно, у Григорьева или у Жорж Санд заимствовал имя своей героини Булат Окуджава в романе «Путешествие дилетантов»? При этом он несколько раз прямо использует образ лавины.)

Антонина мило кокетничала с Аполлоном, он то уверялся в ответных чувствах, то тревожно разочаровывался. Сомнения, колебания, радости ярко отображены в его поэзии той поры. В стихотворении «Женщина» (декабрь 1843 года) – сердитое недовольство:

Вся сетью лжи причудливого сна
Таинственно опутана она,
И, может быть, мирятся в ней одной
Добро и зло, тревога и покой...

А в стихотворении «К Лавинии», созданном в том же декабре, – наоборот, полная уверенность во взаимности:

...Но доколе страданьем и страстью
Мы объяты безумно равно...

В реальной же жизни были лишь намеки на взаимность. А в конце 1843 года у Григорьева появился опасный соперник – Константин Дмитриевич Кавелин. Он был старше Григорьева, родился в 1818 году, юридический факультет Московского университета окончил в 1839-м. Во время первых месяцев ухаживания Аполлона за Антониной (1842–1843) он находился в Петербурге (мать настаивала, чтобы сын делал чиновничью карьеру, но тот долго не выдержал), в конце 1843 года вернулся в Москву и стал посещать «салон» Н. И. Крылова.

Кавелин происходил из семьи, оставившей заметный след в истории русской культуры. Отец его Дмитрий Александрович в молодые годы был поэтом, другом Жуковского и Александра Тургенева, потом видным чиновником (правда, весьма консервативным, соратником мракобесных Магницкого и Рунича); сыну он дал, конечно, хорошее домашнее образование, одним из учителей был В. Г. Белинский, оказавший громадное влияние на Кавелина-сына,

который пошел совсем другим путем, чем отец: он стал одним из главнейших русских либералов, фактически – начинавшим либеральное движение в русской общественной мысли, вместе с Т. Н. Грановским и позднее Б. Н. Чичериным.

Как личность Кавелин был благородным, работающим, творческим, твердым в убеждениях и поступках. В любой сфере он, видимо, был несколько – по-ученому – рационалистичен и, ратуя за гармонию и нравственность, вряд ли мог, подобно Григорьеву, стать рабом страстей. Много позднее, в 1868 году, добрая знакомая его семьи Л. И. Стасюлевич, жена издателя известного либерального журнала «Вестник Европы», допытывалась у Кавелина по поводу его интимной жизни, и тот ответил в письме интересным признанием: «Я никогда в жизни, с молодости, не знал любви и страсти, как ее описывают. Ко многим женщинам я питал и питаю глубокую дружбу и способен увлекаться. Но увлечениям я даю волю только тогда, когда совершенно уверен, что не сделаю этим никому вреда, не расстрою семейного положения, не принесу женщине несчастья и горя. Своим увлечениям я ни разу не приносил женщин в жертву, никогда не клялся в страсти, в вечной любви и т. п. Я позволял себе увлекаться, только когда видел, что это не стоило женщине тяжелой борьбы, упреков совести, когда она, уступая мне, не мучилась сознанием, что нарушила свой долг, свои обязанности. Жертв я бы мог просить, если б был в состоянии заменить женщине всех и все; но на это я не способен и знаю это. Из моих сближений никогда не выходило драм и трагедий, которых я тщательно избегал, потому что не могу выносить чужого горя и прихожу в ужас при одной мысли, что кому-нибудь может быть худо по моей вине». Вот каков оказался соперник у нашего Аполлона.

Ему трудно было тягаться с Кавелиным в смысле социального положения и будущего: тот уже был на пороге защиты магистерской диссертации, надеялся на профессорскую кафедру (и получил ее после защиты!), и мать Софья Григорьевна, да, наверное, и сама дочь быстро предпочли ученого мужа. Тем более что Кавелин, приходя в гости, держался естественно, умно, свободно разговаривал со всеми, а Григорьев от бешеной ревности глупел, хандрил, изображал демонического или разочарованного байрониста, был, наверное, невыносим в общении.

Но Кавелин не сразу узнал о предпочтении именно его. Он видел лихорадочное поведение Григорьева, невооруженным глазом видел, что это страстная любовь, и однажды откровенно спросил неудачника (они были достаточно хорошо знакомы и были на «ты»): с надеждой ли тот любит? на что Григорьев честно ответил отрицательно. Видимо, уже потерял надежду. Тогда Кавелин произнес знаменательную фразу: «Но если эта женщина полюбит кого-нибудь, она будет готова следовать за ним на край света».

Потом Кавелин увидел, что избран он, и со спокойной откровенностью стал делиться с соперником своими планами. Из художественного дневника Григорьева, претенциозно озаглавленного «Листки из рукописи скитающегося софиста»: «Нынче был Кав<елин>... Опять о бессмертии и об ней. Он говорит прямо, что если обеспечит свою будущность, то непременно женится на ней... «Наш взгляд на семейную жизнь одинаков, – продолжал он, – на другой день брака я буду точно таков же, каков я теперь; жена моя будет свободна вполне»... А я – я знаю, что я бы измучил ее любовью и ревностью...» В последнем можно было не сомневаться. Наверное, женщины чуяли эти ревниво-мучительные перспективы.

Все художественное творчество Григорьева тех послеуниверситетских двух лет было пропитано любовью к Антонине Корш. Познакомившись лично с М. П. Погодиным, он стал предлагать издателю журнала «Москвитянин» свои произведения. Несколько стихотворений Погодин напечатал. Самая первая известная нам публикация (июль 1843 года) – два стихотворения «Доброй ночи». Кстати, это и самые ранние стихотворения из «коршевского» цикла, самые светлые и гармоничные. В первом поэт желает любимой спокойного сна; правда, из «подводной тюрьмы» ночью вылетают девять «лихоманок-лихорадок», жаж-

душих «в губы целовать» (сказочные образы взяты из известной книги М. Д. Чулкова «Абевега русских суеверий»; у Фета есть аналогичное стихотворение «Лихорадка»), но на небе находится сторож, «ангельские очи» которого отгонят злодеек:

Спи же тихо – доброй ночи!..
Под лучи светил
Над тобой сияют очи
Светлых Божьих сил.

Второе стихотворение (оно без заглавия; первая строка – «Доброй ночи!.. Пора!..»), навеянное аналогичным сонетом А. Мицкевича, – вариант на ту же тему, только прощание происходит не вечером, а на рассвете, поэтому «ночи тайные гости» уже «отлетают, спеша до утра» «вернуться домой». В переработанном виде это стихотворение войдет в знаменитый григорьевский цикл «Борьба» (1857), о котором еще много будем говорить.

Окрыленный успехом и похвалами, Григорьев забросал Погодина своими грандиозными планами: «...вчера, приехавши от Вас, под влиянием еще разговора с Вами я был долго счастлив. Много веры в назначение поселяете Вы в меня, да воздаст Вам за это Бог. Долго я не мог спать от мысли о будущих четырех архинеистовейших статьях моих для первой книги «Москвитянина» на 1844 год, а именно: 1) рецензии о книге Крылова, 2) рецензии стихотворений моего Фета, 3) статьи о настоящем состоянии философии на Западе и 4) о немецком театре в Москве». Далее сообщается, что статья о Фете «в отрывках написана почти вся». К остальным темам автор, видимо, еще не приступал. «Книга Крылова», очевидно, означает том басен, вышедший в 1843 году в Петербурге (юрист Н. И. Крылов не в счет: у него не было никакой книги); о той самой книге басен И. А. Крылова в «Москвитянине» появилась небольшая рецензия в 1844 году (апрель), но она явно не григорьевская.

В другом письме к Погодину, относящемся к той поре (не датировано), Григорьев говорит о посылке второго акта драмы. Это, по всей вероятности, будущая драма «Два эгоизма», которая в первоначальном варианте называлась «Современный рок». Именно там главный герой – Ставунин, который упоминается в данном письме к Погодину. Однако и этот замысел тогда не был осуществлен, драма заканчивалась уже в Петербурге.

Замысел же ее был чрезвычайно интересен, как он изложен в письме к Погодину: «Хотелось бы мне знать, пропустит ли цензура ее завязку на масонстве? Впрочем, масонство здесь чистый факт, субстрат высших нравственных убеждений, которые сами судят Ставунина, заставляя его сказать:

...В монахи
Я не гоюсь – мне будет так же душно
В монастыре...

Не браните ради Бога за его личность – не на каждом ли шагу она встречается, более или менее, конечно... Это сознание о необходимости смерти, как единственной разумной развязке, тяготеет над многими, над иными как момент переходный, над другими как нечто постоянно вопиющее... и мне кажется, что это – момент высший в отношении к моменту апатии и божественной иронии гегелистов, как самосуд; автономия выше рабства, рабство – тоже самосуд, но только исподтишка, при случае: рабство носит само в себе ложь на себя – самосуд сознает ложь себе признанием неумолимого божественного правосудия... Ему не достает только слова сознания... Эти две лжи – рабство и самосуд отражаются, как мне кажется, во всей истории философии вне Христа: 1) рабство, пантеизм – в лице известных представителей, 2) самосуд – в гностиках, в Бёме, даже в Лютере. Те и другие – лгут, одни

отвергая Бога, другие – отвергая мир... С такого момента глубокого аскетизма, аскетизма Сатаны, с *знания* без любви начинается процесс в душе моего героя. Слово любви, слово ответа – для него в одном прошедшем; без него – он мертв. «Бывалый трепет» чувствует он при встрече с этим прошедшим, но это трепет смерти, трепет мертвой лягушки от прикосновения гальванической нити... Отвратительное, но возможное явление...»

Идеологический комментарий, как всегда у Григорьева, не причесан и сбивчив, но свидетельствует об интересных раздумьях философского плана. «Известные представители» – вероятно, классические немецкие философы, особенно Гегель, а высшим философским и нравственным критерием оказывается учение Христа. В этом отношении запись Погодина в дневнике 1844 года: «Были Григорьев и Фет. В ужасной пустоте вращаются молодые люди. Отчаянное безверие» – нуждается в оговорках; идеи драмы, изложенные в письме к учителю, отнюдь не свидетельствуют о пустоте и безверии.

В душе молодого человека кипели страсти, голова была полна творческих идей, жизнь открывала ему глубины и противоречия философии, эстетики, религиозного сознания, человеческой психики, а дома господствовали прежние патриархальные порядки, и даже утренние матушкины расчесывания волос Полошеньке продолжались. Григорьеву каждый раз по-прежнему нужно было отпрашиваться на какой-либо вечерний визит и не поздно возвращаться домой. Будучи служащим университета, он уже получал жалованье, но все отдавал до копейки родителям, которым и в голову не приходило, что сынок вырос и может нуждаться в собственных деньгах. Надежды на журнальные гонорары были еще слабыми, Аполлон был вынужден для своих расходов влезать в долги. Они его затягивали все сильнее и сильнее, до безнадежности отдачи. А эта перспектива безнадежности развивала в нем не энергию борьбы и преодоления трудностей, а, наоборот, отчаяние обломовца. Опускались руки и усыхала творческая сила. Пропадай, дескать, все! И еще более отчаянно и безответственно залезал в долги. К началу 1844 года долги достигли размера годового жалованья Григорьева.

В моем семейном кругу есть понятие «принцип корзиночки». Четырехлетний внук случайно отломал у красивой плетеной корзиночки одну палочку, что создало заметную дырку. Потрясенный случившимся внук не о починке подумал, а в кусочки разломал корзинку. Вот такой принцип корзиночки постоянно сопутствовал несчастьям Григорьева. Чем хуже и безнадеежнее становилось его положение, тем отчаяннее он падал, опускался, совершал невообразимые поступки. Пропадай все пропадом! Конечно, в такой среде создавались благоприятнейшие условия для развития безответственности: несчастная любовь и обилие долгов лишь усиливали игнорирование прямых обязанностей секретаря университетского Совета.

В «Листках из рукописи скитающегося софиста» Григорьев откровенно писал: «Я хорош только тогда, когда могу примировать (первенствовать. – Б.Е.), т. е. когда что-нибудь заставит меня примировать... Все это вытекает во мне из одного принципа, из гордости, которую всякая неудача только злобит, но поднять не в силах. В эти минуты я становлюсь подозрителен до невыносимости. Дайте мне счастье – и я буду благороден, добр, человечествен».

«Дайте мне счастье» – очень точно сказано. Не «я буду бороться, трудиться, достигая счастья», а «дайте»! На ту же тему формула: «...когда что-нибудь заставит меня...».

Не очень надеясь на альтруизм окружающих, Григорьев глубоко верил в божественное чудо. Бог даст! Причем верил прямо «материалистически»: может быть, подкинет на улице кошелек с деньгами! С большой долей цинизма он называл Бога Великим Банкиром... В стихотворном послании к друзьям (начало 1850-х годов) он полушутя, полусерьезно заявлял:

И сам я молод был и верил в Благодать,
Но наконец устал и веровать, и ждать,
И если жду теперь от Господа спасенья,

Так разве в виде лишь огромного имения...

Единственную активность, которую при этом позволял и приветствовал ожидающий чуда, – это стремление узнать, что именно готовит ему Бог. Из «Листков...»: «Хочу молиться в первый раз (за) этот год. Есть вечное Провидение – и я хочу знать его волю». Не дожидаясь, пока чудо случится, спровоцировать божественный Фатум, заранее узнать, что тебе готовится.

Но Провидение не спешило помогать несчастному, который все больше погружался в трясину безнадежности. Любовные успехи Кавелина сделали бесповоротно невозможными мечты о взаимных чувствах и соединении с Антониной Корш; долги росли, росли проценты у ростовщиков; ясно было, что в конце концов раскроется безделье Григорьева как секретаря Совета. Что делать? И у запутавшегося молодого человека (не забудем, что ему всего 21 год!) начинает созревать идея: бежать. Это тот выход, который, как увидим, и в дальнейшем будет всегда вставать перед ним, и всегда он будет его осуществлять. А куда бежать? Появился фантастический план: в Сибирь! То есть подальше от несчастной любви, от кредиторов, от раскрытия секретарского ничегонеделания. А как можно было зарабатывать в Сибири? Наверное, учительствовать в гимназии?

Однако идея прямого сибирского побега из Москвы вскоре отпала: официального перевода из Московского учебного округа в Сибирь не давали (Григорьев даже обращался к своему покровителю, попечителю графу Строганову, но тот отказал), получить губернаторское разрешение на поездку без перевода, «тайно» от университетского начальства тоже не удалось, а бежать без документов было опасно: не с каликами же переходили брести по дорогам, да и там можно было попасть в руки полиции, а ехать через почтовые станции совершенно невозможно: в николаевское время, как в военную годину, передвижение людей по стране было строго регламентировано, нужно было получить при отъезде подорожную, официальное свидетельство о маршруте и целях поездки.

Тогда Григорьев придумал такой блестящий план: отпроситься на небольшой отпуск в Петербург, а уже оттуда через министерство добиться перевода в Сибирь (впоследствии Сибирь отпала: то ли и в Петербурге не разрешили, то ли столица заманила молодого человека; и лишь много лет спустя юная идея была частично осуществлена: в 1861 году он поехал преподавать в Оренбургский кадетский корпус). Отпуск в Петербург на 14 дней удалось получить беспрепятственно, причем Григорьев намекнул ректору А. А. Альфонскому, что хочет не возвращаться; ректор уговаривал остаться, но, как видно, без успешно.

Любопытно сочетание дат: 24 февраля 1844 года Кавелин успешно защитил магистерскую диссертацию, и это, наверное, было последней каплей, подтолкнувшей Григорьева на радикальное решение; 25 февраля он отправился с заявлением к ректору университета: «Имея надобность по домашним обстоятельствам отправиться в Санкт-Петербург...» Мы-то знаем эти домашние обстоятельства! Ректор разрешил, попечитель граф Строганов написал свою подтверждающую резолюцию 26 февраля, и в один из ближайших последующих дней Григорьев уехал. Он специально подгадал оформление документов к концу недели (26 февраля – суббота), чтобы родители как-то не узнали сразу – через Н. И. Крылова – о намерениях сына.

Главное было – до самого отъезда утаить побег от родителей, Аполлону так не хотелось открытого семейного скандала, хотя он, естественно, хорошо понимал, какой шторм разыграется после его исчезновения. Он вообще старался не распространяться о побеге. Вот описание в «Листках...» последнего визита к Коршам, где визитер явно умолчал об отъезде: «Там застал я К(а)в(ели)на и потому невольно был молчалив и скупен. «У! какой злой сегодня, – говорила мне Софья Григорьевна, – какой злой, какой старый!» И в самом деле – я и К(а)в(ели)н были такими противоположностями в эту минуту. Он – живой, умный, румя-

ный, полный назначения и надежд, сидел прямо против Антонины Федоровны и говорил без устали. Я сидел у окна подле матери – и курил сигару, изредка вмешиваясь в разговор; моя бледная, исковерканная физиономия казалась еще бледнее. К чему-то Антонина обратилась ко мне с вопросом: «А помните, как мы гуляли в Покр(овско)м?»

– Как же-с! – отвечал я так равнодушно, что за это равнодушие готов был уважать себя. Мы поднялись вместе.

– Au revoir, mesdames, – сказал я им. – Adieu, m-lle², обратился я к ней.

И как подумаешь, что может быть, навек».

А вот уже открытое прощание с Фетом, который несколько месяцев, до лета, пока не окончит, наконец, студенческое поприще, будет жить на антресолях григорьевского дома: «Да – есть связи на жизнь и смерть. За минуту участия женственного этой мужески-благородной, этой гордой души, за несколько редких вечеров, когда мы оба бывали настр оены одинаково, – я благодарю Провидение больше, в тысячу раз больше, чем за всю мою жизнь.

Ему хотелось скрыть от меня слезу – но я ее видел.

Мы квиты – мы равны. Я и он – мы можем смело и гордо сознаться сами в себе, что никогда родные братья не любили так друг друга. Если я спас его для жизни и искусства – он спас меня еще более, для великой веры в душу человека».

Сам Фет тоже колоритно описывал отъезд Григорьева в своих воспоминаниях: «Сборы его были несложны, ограничиваясь едва ли не бельем и платьем, бывшим на нем в данную минуту, так как остальное было на руках Татьяны Андреевны, у которой нельзя было выпросить вещей в большом количестве, не возбудив подозрения. В минуту отъезда дилижанса мы пожали друг другу руки, и Аполлон вошел в экипаж. Когда дилижанс тронулся, я почувствовал себя как бы в опустелом городе. Это чувство сиротливой пустоты я донес с собою на григорьевские антресоли. Не буду описывать взрыва негодования со стороны Александра Ивановича и жалобного плача Татьяны Андреевны после моего объявления об отъезде сына. Только успокоившись несколько, на другой день они решились послать вслед за сыном слугу Ивана-Гегеля с платьем, туалетными вещами и несколькими сотнями рублей денег. При отъезде Аполлон сказал мне, у кого можно было искать его в Петербурге. Оказалось, что Аполлон по добродушной бесшабашности роздал множество книг из университетской библиотеки, которые мне пришлось не без хлопот возвращать на старое место».

И наконец, – последние строки «Листков из рукописи скитающегося софиста»: «Утро – со мной лихорадка. В пять часов меня не будет в Москве (...). Я доволен собою. Чуть не изменил себе, прощаясь с стариками; – но все кончено – передо мною мелькают лес да небо... Теперь 9 часов. Домашняя драма уже разыгрывается. *Fatum* опутало меня сетями – *Fatum* разрубило их».

Побеги Григорьева осуществлялись всегда в очень кризисные моменты его жизни, что лишний раз напоминает об удивительных компенсаторных способностях человеческого организма. Слепой развивает возможности других органов чувств, особенно слуховые и осязательных. Глухой опирается на зрение. А в нашем случае происходит «разрезание» пространственно-временного континуума и использование одной «половины» для компенсации ослабленной второй. Человек, прикованный болезнью к постели или заключенный в тюрьму, то есть лишенный свободы, заменяет эту недостачу временными развертками: прокручивает в уме «кинофильмы» о прошлой жизни, иногда занимается прогнозами о будущем своем существовании и т. д. И наоборот, временная застопоренность, духовный кризис, останавливающий развитие жизненное движение человека, может его привести к попыткам пере-

² До свидания, сударыни... Прощайте, мадемуазель (фр.)

мещаться в пространстве, чтобы сдвинуться с мертвой точки, чтобы новыми впечатлениями дать пищу замороженной душе... У Григорьева к такой временной заколоченности примешивались еще неприятные ореолы, характерные именно для данного места (рядом – любимая, выходящая замуж за другого, кредиторы требуют возврата долгов, родители лишают молодого человека бытовой свободы), поэтому побег означал еще надежду избавиться от тяжкого соседства.

В петербурге

Железная дорога Петербург – Москва тогда еще только строилась, нужно было пользоваться гужевым транспортом. Имевшие возможность ехать в своих экипажах или нанимать их у чужих людей, конечно, наслаждались относительным комфортом, хотя по булыжному шоссе, получавшему преимущество перед земляным проселком лишь при дождях, ехать было очень тряско, почему те, кто мог перенести поездку на зимнее время, предпочитали сани. Люди победнее отправлялись в путь в общем дилижансе. Это обширная карета с двумя скамейками у продольных стен с окошками; на каждой скамейке сидело по пять-шесть человек. Читать было при вибрации очень трудно, оставалось разговаривать с соседями, дремать, прикладываться к фляжке (спутник А. И. Герцена в одной из поездок не только сам постоянно прикладывался, но и от души угощал соседа, вежливо спрашивая, не желает ли он «практического», то есть водки; на стоянке Герцен отблагодарил его, как писал жене, «теоретическим», то есть хорошим вином).

В сороковых годах дилижанс шел между столицами трое суток, так что если Григорьев выехал из Москвы 27 февраля, то приехал в Петербург 1 марта 1844 года; не забудем, что это был високосный год, то есть с 29 февраля.

Не успел Григорьев прибыть в столицу, как он уже отправляет ректору Альфонскому просьбу о продлении отпуска еще на 14 дней (дата на прошении – 2 марта). Подождав еще около трех недель, он просит 21 марта выдать ему причитающееся жалованье за февраль и март (!) – и сообщает о Фете как своем доверенном лице.

А еще через несколько дней, в самом конце марта, уже просит о перемещении на службу «в хозяйственный департамент Министерства внутренних дел». Ректор согласился, попечитель тоже; видно Григорьев очень нравился графу Строганову, ибо тот предложил ректору Альфонскому известить департамент Министерства внутренних дел, что бывший студент в числе отличнейших кандидатов был представлен в 1842 году министру народного просвещения для разрешения ему прямо поступать на службу в ведение министерства.

Любопытно, что прежде чем отправить согласие в Петербург, канцелярия университета послала запрос в библиотеку: не имеет ли увольняемый Григорьев каких-либо казенных книг – и получила ответ «не имеет».

Странно, что прошение о хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел не имело продолжения, несмотря на все положительные ответы; Григорьев почему-то оказался с 26 июня 1844 года служащим 2-го департамента Петербургской управы благочиния (есть документ), то есть городского полицейского управления. Но во всех следующих документах Григорьева будет ложная дата: якобы он поступил в Управу благочиния «канцелярским чиновником высшего оклада» 25 сентября 1843 года. Что означает этот почти годовой сдвиг влево? Случайная ошибка какого-то чиновника, о которой Григорьев умалчал, или же сознательное увеличение стажа службы в Петербурге с помощью взятки или каких-то служебных связей отца? Трудно сказать. Но лишний раз убеждаешься, что даже документам Министерства внутренних дел не следует доверять, а надо их проверять другими данными. Хорошо, что мы точно знаем, когда наш герой переехал из Москвы в Петербург.

Через полгода после реального поступления в Управу благочиния, в декабре 1844 года Григорьев переводится опять же «канцелярским чиновником высшего оклада» в 1-е отделение 5-го департамента Правительствующего Сената (этот департамент ведал уголовными делами), в марте 1845 года он и там получает повышение – место «младшего помощника секретаря». Как мог такой совершенно не пригодный к канцелярской работе человек получать повышения по службе?! Действовали связи отца? Или прекрасный аттестат первого кандидата Московского университета? Реально-то Григорьев никак не хотел трудиться на

бюрократическом поприще; он ворчал, манкировал, мечтал, что будут изобретены машины, которые заменят нетворческий труд чиновника... Но жалование-то он исправно получал.

Конечно, очень скоро его отлынивание от своих прямых обязанностей стало заметным начальству. Обер-прокурор того отделения, где служил Григорьев, подал министру юстиции, который ведал чиновниками Сената, рапорт от 21 июня 1845 года с сообщением, что младший помощник секретаря «постоянно называл себя к службе нерадивым и к должности являлся весьма редко, несмотря на многократные напоминания со стороны эзекутора, отзываясь притом каждый раз болезнью; но когда по распоряжению моему, был командирован доктор для освидетельствования его в состоянии здоровья, то не застал его дома». Колоритный рапорт. Мы привыкли уже к представлениям о деспотическом режиме Николая Палкина, но какая, однако была патриархальная простота в высшем чиновничьем учреждении России: можно было без всяких справок постоянно прогуливать часы работы!

Министр, видимо, все-таки взялся от такой наглости приголубленного чиновника и потребовал, как в сказке о рыбаке и рыбке, вернуть Григорьева на службу в Управу благочиния. Не уволить, а перевести рангом ниже! Но и там Григорьев перестарался, в ноябре 1845 года он подал прошение об увольнении «за болезнью». Уволили. Так закончилась столичная чиновничья карьера нашего Аполлона... Игнорирование служебных обязанностей было, вероятно, связано не только с отвращением к бюрократической деятельности, но и с успехами в литературной и журнальной сферах, о чем речь будет ниже.

Где жил Григорьев в Петербурге? Пристанища его первых месяцев нам неизвестны, здесь можно только гадать. Не забудем, что у Фета был какой-то петербургский адрес, да и родители, посылая на следующий день вслед за уехавшим сыном слугу Ивана, верно, получили от Фета адрес. Значит, речь должна идти не о первой попавшейся гостинице, а уже о заранее известном месте. Возникает предположение, что первоначально молодого человека приголубили в Петербурге масоны.

Масонство Григорьева – одно из самых загадочных и темных мест в его биографии. Прежде всего это связано с тем, что масонские ложи были официально запрещены Александром I 1822 году, в год рождения Аполлона, а репрессии николаевского правительства против всяких нелегальных кружков тем более настораживали сохранивших свои традиции масонов, и они ушли в глубокое подполье. Но они, конечно, не самораспустились, хранили заветы предшественников и, наверное, привлекали в свои организации новых членов; в XX веке в предреволюционное время и в 1917 году масонские ложи приоткрыли свое подполье; видно было, что ложи существовали в течение всего XIX.

Более чем вероятно, что Григорьева «соблазнили» вступить в масонскую организацию еще в Москве. Из воспоминаний Фета: «Григорьев не раз говорил мне о своем поступлении в масонскую ложу и возможности получить с этой стороны денежные субсидии. Помню, как однажды посетивший нас Ратынский с раздражением воскликнул:

«Григорьев! подавайте мне руку, хватая меня за кисть руки сколько хотите, но я ни за что не поверю, чтобы вы были масоном» (масонское рукопожатие – как бы щупать пульс товарища. – Б.Е.). (...) Однажды, к крайнему моему изумлению, он объявил мне, что получил из масонской ложи временное вспомоществование и завтра же уезжает в три часа дня в дилижансе в Петербург».

А в самом деле, откуда у совершенно безденежного Григорьева могли появиться средства на билет в Петербург и хоть какая-то сумма на первое время столичной жизни? Правда, в «Листках...» он сообщал, что перед его отъездом Фет вместе с еще одним товарищем, Хмельницким, «рассматривали мои вещи, думая, как бы повыгоднее заложить их». А Я. П. Полонский писал Н. М. Орлову (конец февраля – начало марта 1844 года): «...заложил все свои вещи за 200 рублей...» Но какие у полностью зависимого от родителей сына могли быть ценные вещи?! Так что «временное вспомоществование» вполне вероятно.

Московские контакты Григорьева с масонами подтверждаются его письмом к Погодину, которое уже цитировалось выше (оно не датировано, относится к последним месяцам московской жизни автора). Напомним, что Григорьев посылает Погодину второй акт драмы и спрашивает: «Хотелось бы мне знать, пропустит ли цензура ее завязку на масонстве?»

А петербургские масонские связи нашего путешественника вообще несомненны. Прежде всего отметим переведенные им масонские гимны. В 1846 году в Петербурге вышли в свет «Стихотворения Аполлона Григорьева» (уж не на масонские ли деньги?!), где первый раздел книги имеет общее заглавие «Гимны» и включает 15 стихотворений с общей датой «1845». Это, действительно, гимны Богу, духовности, дружбе, вечной жизни верующих людей:

Руку, братья, в час великий!
В общий клик сольемте клики
И, свободны бранных уз,
Отложив земли печали,
Возлетимте к светлой дали,
Буди вечен наш союз!

Еще в 1916 году известный исследователь творчества Григорьева В. Н. Княжнин предположил, что по аналогии с масонскими сборниками стихотворений эти гимны предназначены для исполнения в ложах, при совершении обрядов, а в 1957 году ленинградский литературовед Б. Я. Бухштаб в немецком масонском сборнике «Полное собрание песен для масонов» (Берлин, 1813) обнаружил 11 стихотворений, которые Григорьев точно перевел – с некоторыми, впрочем, заменами: слово «масоны» он вообще исключал либо заменял «братьями» явно по цензурным соображениям. Из оставшихся четырех гимнов три явно масонские и переводные, просто мы не знаем того источника, откуда они взяты, а четвертый – перевод одного масонского стихотворения Гёте.

Созданы ли григорьевские гимны по заданию какой-либо масонской ложи или они – самостоятельный, добровольный вклад автора – неизвестно.

Много масонского материала и в художественной прозе Григорьева. В повестях «Один из многих» (1846) и «Второй из многих» (1847), довольно автобиографических, оба главных героя – Званинцев и Имеретинов – воспитанники масонов и сами масоны. Вторая повесть создавалась уже по возвращении Григорьева в Москву, она как бы подводила черту под первым петербургским периодом Григорьева и под его масонскими увлечениями, тем более что у него были все основания глубоко разочароваться в главном масонском знакомом, возможно, именно в том, кто и был посредником, агитатором, введшим неофита в масонскую ложу.

Масонские идеалы и деяния их вождей были благородны и светлы: утверждать всеобщую гармонию человечества и высокие нравственные принципы, развивать духовные начала в человеке, просвещать массы, способствовать полной отдаче своей жизни служению людям. Но как часто бывает на свете, к альтруистическим и основанным на доверии коллективам, тем более законспирированным, могут прилипать личности циничные и корыстные, обрадованные возможностями бесконтрольно обманывать и наживаться. Таковым, видимо, был прототип Имеретинова Константин Соломонович Милановский, сведения о котором по крохам собирают исследователи жизни и творчества Григорьева, начиная с первого издателя собрания его писем в 1917 году В. Н. Княжниной и кончая – пока – автором этих строк.

Милановский – сокурсник Фета в 1838–1840 годах на философском факультете Московского университета. Но в конце второго курса он сдал лишь один экзамен и потом исчез – на этом, наверное, и закончилась его студенческая жизнь. Фет в воспоминаниях рассказал

о сокурнике Мариновском (такого реально не было, явно имеется в виду Милановский), «весьма начитанном и слывшим не только за весьма умного человека, но даже за масона»; этот тип запомнился Фету потому, что однажды с наглым обманом пообедал за его счет. Наверное, в это время с Милановским познакомился и Григорьев. Потом «масон» оказался в Петербурге, вошел в кружок В. Г. Белинского, довольно быстро был там разоблачен как проходимец. Белинский писал В. П. Боткину 9 декабря 1842 года: «Г-н М. дал мне хороший урок – он гаже и плюгавее, чем о нем думает К». К. – это Кавелин, оставивший в воспоминаниях колоритный очерк о Милановском, который «подкупил Белинского либеральными фразами, но оказался проходимцем и эксплуататором чужих карманов (...). Белинский приходил в ужас от того, что пускался в либеральные откровенности с таким господином, трусил, что он на него и на весь кружок донесет. Это не помешало ему выгнать Милановского из своей квартиры с скандалом».

Тот, видимо, продолжал околачиваться в Петербурге, ибо именно там его встретил Григорьев в один из своих многочисленных архикризисных моментов, о чем писал, вспоминая, Погодину в 1859 году: «...некогда, в 1844 году я вызывал на распутии дьявола и получил его на другой же день на Невском проспекте в особе Милановского». Безвольный Григорьев, видимо, быстро оказался в руках хитрого и умного «масона», чем тот беззастенчиво пользовался. Журналист И. В. Павлов, хорошо знавший Григорьева тех лет, вспоминал: «А года через два (речь выше шла о 1843 годе. – Б.Е.) бедняга попал в умственную кабалу к известному тогда проходимцу Милановскому, выдававшему себя чуть не за Калиостро. К нему относится экспромт Некрасова, напечатанный в альманахе «1 апреля»:

Ходит он меланхолически,
Одевается цинически
И ворует артистически...

И вот на этого-то вора, архижулика, Аполлон Григорьев чуть не молился и рабски повиновался ему во всем».

Осуждающе о подчинении Григорьева «масону» писал Полонскому Фет 30 июля 1848 года: «Вот что значит ложное направление и слабая воля. Милановского надобно бы как редкость посадить в клетку и сохранить для беспристрастного потомства. Впрочем, он только и мог оседлать такого сумасброда, как Григорьев».

А «оседлал» Милановский Григорьева не только «умственно», как писал Павлов, но и материально. Григорьев сообщал отцу 23 июля 1846 года: «Связь моя с Милановским действительно слишком много повредила мне в материальном отношении, но вовсе уже не была же так чудовищна, как благовестит об этом Москва (...). Тяжело мне расплачиваться за эту связь только материально, ибо (...) я взял на себя (давно еще) долг этого мерзавца». Так что в середине 1846 года он уже и сам раскусил проходимца.

В повести «Другой из многих» он расставался со своими заблуждениями и отталкивал искусителя. В конце повести Иван Чабрин, благородный и романтический юноша, духовно соблазненный Имеретиновым (в первом герое заметны черты автора), убивает на дуэли своего соблазнителя. Так Григорьев косвенно расправлялся и с «этим мерзавцем», и со своим прошлым.

Если о масонских пристанищах Григорьева в Петербург можно только гадать, то совершенно точно известно, что с осени 1845 года он жил у В.С. Межевича, давшего ему приют не только домашний, но и журнальный. В письме к Погодину 19 октября 1845 года Григорьев сообщает свой адрес: «...близ Большого театра в доме Гюбеня в редакции «Полицейской газеты» в квартире редактора». Этот дом, правда, надстроенный в XX веке еще на один этаж, сохранился; тогдашний его адрес – Никольская, 5; нынешний – ул. Глинки, 6. Рядом, на

месте современного здания Консерватории, находился главный театр Петербурга – Большой (Мариинки тогда и в помине не было). На службу Григорьеву тоже недалеко было ходить: Управа благочиния располагалась совсем близко, на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта; в сильно перестроенном и надстроенном виде это большой административный дом № 55-57 по Садовой. Сенат – чуть подальше, у Медного всадника.

Василий Степанович Межевич, родившийся то ли в 1814-м, то ли в 1812 году, был отдаленный потомок польских шляхтичей, второстепенный поэт и литературный критик, москвич, приглашенный А. А. Краевским в обновленный журнал «Отечественные записки» и потому переехавший в 1839 году в Петербург. Но вскоре Краевский предпочел куда более талантливого Белинского и отстранил Межевича от литературной критики, чем его, конечно, смертельно обидел. Межевич тогда перебрался в болгаринскую «Северную пчелу» и, видимо, тем самым стал для властей благонамеренным: он смог получить место редактора вновь открытой газеты «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции», которую сделал довольно интересной, помещая там очерки и рецензии культурной жизни столицы, особенно театральной жизни. С 1843 года он еще возглавил театральный журнал «Репертуар и пантеон». Поэтому привлечение Григорьева (может быть, они еще по Москве были знакомы были?) было очень полезно для последнего: он уже с июня 1844-го стал печататься в «Репертуаре и пантеоне», известно и его участие в «Полицейской газете» (так она именовалась в обиходе). Мы можем гадать и о помощи Межевича при устройстве Григорьева в полицейскую Управу благочиния и при издании сборника стихотворений.

В 1845–1846 годах Григорьев стал ведущей фигурой в журнале «Репертуар и пантеон», чуть ли не фактическим редактором; по крайней мере он обильно заполнял страницы журнала своими художественными произведениями, очерками, театральной критикой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.